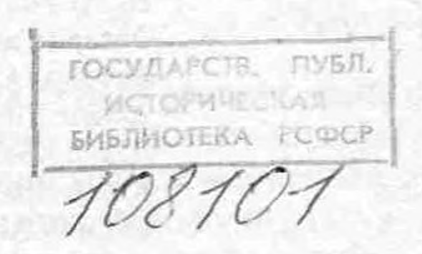
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ



4

1997

Журнал выходит 4 раза в год
Издается с января 1980 года

МОСКВА • «НАУКА»

Социальная история отечественной науки и техники

А. Б. КОЖЕВНИКОВ

ИГРЫ СТАЛИНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ В СОВЕТСКОЙ НАУКЕ: 1947–1952 гг.*

От редакции

Наш журнал продолжает знакомить читателей с историей широкомасштабной идеологической кампании, «обрушившейся» на советскую науку в конце 40-х гг. (см., напр.: Кривоносов Ю. И. Сражение на философском фронте (философская дискуссия 1947 года — пролог идеологического погрома науки) // ВИЕТ. 1997. № 3. С. 63–86). Благодаря привлечению новых архивных материалов за последние годы мы многое узнали об основных «героях» и организаторах этой кампании, нюансах и деталях прошедших дискуссий, что уже позволило изменить многие стереотипные оценки и интерпретации. Необходимо еще специально рассмотреть и обсудить методологию проводимого анализа, сделать предметом внимания основные категории и средства, в рамках которых проводились исторические реконструкции событий того периода.

На наш взгляд, предлагаемая работа А. Б. Кожевникова вызывает интерес прежде всего постановкой именно этих вопросов. Хотя сам подход «этнографического анализа», на позициях которого стоит автор, может казаться и спорным, и недостаточно пока проясненным в своих исходных посылках, но тем не менее привлекает сама попытка взглянуть на целую серию событий недавнего прошлого в рамках единой модели.

Имя Лысенко давно стало символом идеологического диктата в советской науке и его разрушительных последствий. И если позиции противоборствующих сторон — генетики и «мичуринской биологии» — исследовались довольно подробно, то о мотивах действий сталинского руководства вплоть до архивных открытий недавнего времени можно было только гадать или строить весьма зыбкие теоретические предположения**.

Согласно наиболее распространенной интерпретации, смысл послевоенных событий в биологии определялся идеологической и националистической кампанией, нацеленной на создание *марксистской* и (или) специфически советской, *незападной* науки, и на подавление настоящей и интернациональной науки.

* Одновременно публикуется вариант статьи на английском языке: *Kojevnikov A.* Rituals of Stalinist Culture at Work: Science and the Games of Intraparty Democracy circa 1948 // The Russian Review. Vol. 57. January 1998. P. 25–52.

** Наиболее важные находки, на которые я опирался при анализе биологической дискуссии, принадлежат В. Н. Сойферу (письма Лысенко Сталину и Бенедиктову), В. Д. Есакову и Е. С. Левиной (письма генетиков в ЦК), а также К. О. Россиянову (рукопись доклада Лысенко с правкой Сталина) (см. [1–4]). В настоящей статье также впервые используются протоколы решений Политбюро лета 1948 г. по вопросам биологии.

ВИЕТ. 1997. № 4. С. 26–58.

Как считают сторонники этой точки зрения, в биологии этот процесс был доведен до полной завершенности в результате проведения печально знаменитой Августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г., на которой Лысенко провозгласил победу своего доморощенного и псевдонаучного направления над международно признанной, но якобы идеалистической, формальной генетикой. В дальнейшем Августовская сессия послужила образцом для аналогичных погромов во многих других научных дисциплинах*.

Такая идеологическая интерпретация не столь уж давних событий в истории советской науки широко популярна и кажется очевидной и бесспорной. И все же она наталкивается на две серьезные трудности.

Первая трудность связана с избирательностью восприятия и концентрацией основного внимания на одном конкретном случае, а именно — на лысенковщине. Действительно, именно этот случай представляется наиболее значимым, и ему в этом плане трудно найти эквивалент: для ученых происшедшее в биологии было подлинной катастрофой, а для критиков сталинизма лысенковщина представляла яркий пример очевидного идеологического фиаско проводимой коммунистами научной политики. Однако у коммунистической партии, несомненно, были свои собственные критерии для оценки данного случая. Вплоть до молчаливого признания ошибки в 1964 г. Августовская сессия ВАСХНИЛ официально отнюдь не считалась провалом партийной научной политики и грубым подавлением науки «извне», а, напротив, признавалась важной идеологической победой, которая внесла большой вклад в дело научного прогресса.

Менее очевидно — а потому более интересно и важно — другое: партия числила в своем активе не одно, а пять подобных «достижений» в науках. Напомним, что, наряду с биологической дискуссией, были также проведены дискуссии по философии (1947), лингвистике (1950), физиологии (1950) и политической экономии (1951)**. Перечисленные четыре дискуссии не стали так же хрестоматийно и скандально знаменитыми, вероятно, потому, что для внешних наблюдателей они не настолько удачно соответствовали стереотипам «стандартной интерпретации» и не представлялись столь же характерными и важными. Но если мы хотим понять, в чем коммунисты видели общую цель данной идеологической кампании, нам важно уяснить их собственные внутренние критерии, а также то общее, что для них объединяло эти пять событий.

Вторую главную трудность для стандартной интерпретации представляет как раз разнородность и непоследовательность перечисленных выше ситуаций. Достаточно даже беглого взгляда на пять главных дискуссий, чтобы понять, что интерпретационную модель, основанную на обобщении одного дела Лысенко, нельзя без определенного насилия распространить на более обширный фактический материал.

Так, в области философских наук состоялось критическое обсуждение книги крупного партийного чиновника Г. Ф. Александрова, в результате чего он хоть и был понижен в занимаемой должности, но все же остался начальником над своими критиками (см. [10–11]). Если на Августовской сессии ВАСХНИЛ был объявлен

---

* Последняя по времени аналогичная попытка идеологического объяснения победы Лысенко, согласно которой сталинский выбор приписывается его желанию в период начала «холодной войны» публично продемонстрировать отличие советской науки от западной, недавно опубликована Н. Л. Кременцовым (см. [5]).

** См., например, официальный курс «Истории КПСС» [6, с. 606]. Более поздние его издания стыдливо опускают упоминание о биологической дискуссии, оставляя только четыре другие. Те же главные дискуссии приводятся в [7–9].

запрет на интернациональную версию генетики (см. [12–13]), то в результате лингвистической дискуссии произошло нечто противоположное: «новое учение о языке» Н. Я. Марра, — которое можно охарактеризовать как революционное и антизападное, своего рода аналог лысенковщины в языкознании, — было отвергнуто в пользу традиционной и международно признанной сравнительной лингвистики (см. [14–15]). В советской физиологии не было серьезных концептуальных разногласий, и спор среди учеников И. П. Павлова, по сути дела, шел за право называться наиболее ортодоксальным продолжателем дела почившего учителя и возглавлять созданные им физиологические институты (см. [16–18]). Проект нового учебника по политической экономии обсуждался на закрытом совещании экономистов и работников ЦК. Хотя собрание закончилось без какого-либо формального решения, оно вдохновило Сталина на написание последнего большого теоретического труда «Экономические проблемы социализма в СССР» (см. [19–20]).

Кроме пяти вышеперечисленных главных дискуссий, в течение 1947–1952 гг. были проведены десятки аналогичных мероприятий и в других научных дисциплинах, которые продемонстрировали еще большую степень разнообразия. По своему масштабу они бывали солидными (как, скажем, всесоюзная конференция) или скромными (например, институтское собрание, на котором обсуждалась книга или учебник). Иногда в них принимали участие политические деятели различного ранга, но большинство мероприятий были организованы самими учеными. В основе полемики могли лежать серьезные концептуальные разногласия, но иногда их подоплекой служили институциональные конфликты или просто личная вражда. Некоторые критические дискуссии привели к серьезным изменениям в академической иерархии, другие лишь подтвердили существовавшие властные отношения в науке. В целом влияние идеологической кампании этого периода на советскую науку было довольно хаотичным: иногда разрушительным — как в биологии, иногда более позитивным — как в лингвистике, но во многих случаях оно просто не имело серьезных и однозначно оцениваемых последствий*.

Непоследовательность прошедшей кампании видна не только в масштабах, содержании и результатах дискуссий, но и в употребляемой идеологической риторике. Некоторые из выдвигаемых обвинений против того или иного ученого или его концепции были весьма серьезны, но иногда полемика была выдержана практически в академическом стиле и лишь незначительно сдобрена политической лексикой. Те, кто интерпретировал события тех лет как «идеологическое подчинение науки», расходились во мнениях относительно сути и содержания этой самой идеологии. Хотя в дискуссиях того времени декларировалось довольно много политических принципов, ни один из них не был последовательно проведен от начала и до конца кампании. Наряду с лозунгами специфического для отдельных дисциплин содержания, в ходу были самые общие: например, верность диалектическому материализму и осуждение «холодной войны», борьба с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом», а также — «против монополизма в науке». Встречались даже призывы к свободе критики и проявлению творческой инициативы.

Известный американский историк Дэвид Жоравский охарактеризовал эту идеологическую путаницу как «странную смесь элементов», как набор очевидных про-

* В целом академической по характеру была дискуссия по космогонии (см. [21]). Основной целью дискуссии в литературоведении была, вероятно, смена директора Института (см. [22]). В химии большую дискуссию возглавило само академическое начальство, и смены власти не произошло (см. [23–24]). В физике главной движущей силой противоборства были не теоретические, а институциональные и личные конфликты (см. [25–26]).

тиворечий с точки зрения внешних наблюдателей и как «наиболее поразительную непоследовательность в сталинском стремлении к монолиту». В то же время Журавский подчеркнул, что сам Сталин не усматривал во всем этом противоречий [17, с. 405–406].

С одной стороны, не вызывает сомнений, что в целом перечисленные мероприятия и события представляли собой единую политическую кампанию в специфически советском смысле: демонстрировались несколько центральных, широко пропагандируемых примеров, далее появлялось множество местных откликов и подражаний. Пять главных дискуссий выделились из десятков других благодаря тому, что они — и только они — получили официальное (хотя и не всегда афишируемое) одобрение на высоком партийном уровне, т. е. со стороны Центрального Комитета ВКП(б) и самого Сталина. Поэтому именно эти дискуссии стали важными политическими событиями, которые предназначались для демонстрации широкой публике, а не только узкому кругу ученых. Но, с другой стороны, даже в этих дискуссиях, санкционированных и проконтролированных одной и той же высшей инстанцией, не так-то легко усмотреть единую цель и логику.

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы понять: в чем же видели смысл всей кампании идеологических дискуссий в науке ее инициаторы? Ибо для нас — внешних наблюдателей (*cultural outsiders*), дистанцированных от рассматриваемых событий самим течением исторического времени, — эта кампания представляется противоречивой и хаотичной.

Понимание логики другой культуры — в данном случае политической культуры сталинизма — требует использования культурологических и этнографических подходов*. Как будет показано ниже, существовали некоторые общие закономерности идеологической кампании в советской науке, но они проявлялись не в конкретном содержании и результатах проводимых собраний, а на уровне культурных ритуалов и соответствующих формальных правил публичного дискурса и поведения. Эти правила были перенесены в науку из политической сферы, из области так называемой «внутрипартийной демократии». В предшествующих статьях я использовал эту идею для объяснения идеологической кампании в советской физике, в частности, для объяснения того, почему эти события закончились иначе, чем в биологии (см. [26; 28]). Здесь предлагаемая интерпретационная модель будет сформулирована в развернутом виде и применена к анализу других случаев (философской, лингвистической, политэкономической и физиологической дискуссий).

Философская дискуссия 1947 г. была не только хронологически первым, но и наиболее «чистым» примером идеологической дискуссии, которая была организована политиками из ЦК, и именно ее анализ поможет нам разобраться в правилах соответствующих *ритуальных коммунистических игр, именуемых «дискуссия» и «критика и самокритика»*. Чтобы понять функции и цели этих игр и мотивы их применения в науке как метода разрешения споров, нам потребуется небольшой экскурс в советскую политическую историю.

На практике конечные результаты публичных конфликтов не были предопределены заранее, а зависели от умений и действий противоборствующих сторон. Анализ дискуссий в биологии и лингвистике — двух противоположных случаев — проиллюстрирует, каким образом ученые интерпретировали и использовали эту характерную особенность партийных игр.

В конечном итоге кампания идеологических дискуссий предстает как перенос ритуалов внутрипартийной демократии из одной политической культуры

---

* Читатели ВИЕТ могли познакомиться с антропологическим (или культурологическим) подходом в истории науки по замечательной публикации Д. А. Александрова (см. [27]).

(партийно-коммунистической) в другую (академическую) и применение этих ритуалов к разрешению научных противоречий. Инициатива этой кампании исходила от коммунистических аппаратчиков преимущественно среднего звена, которые явно не представляли себе серьезности всех возможных последствий проводимых мероприятий и связанного с этим риска. Ученые ответили на такое «приглашение» власти многообразием академических конфликтов, преследуя разнообразные собственные цели, изобретательно комбинируя наличные культурные и риторические ресурсы, вступая в диалог с политиками на их языке и апеллируя к ним как к арбитрам. При этом правила публичного поведения и языкового дискурса были в определенной степени заданными, но сохранялось достаточное пространство для импровизации, что приводило к тому, что исход разыгрываемого «поединка» был не*предсказуем, а события становились совершенно непохожими друг на друга.* Предложенная нами модель позволит сформулировать некоторые общие выводы о взаимоотношениях между наукой и идеологией, учеными и политиками в сталинскую эпоху.

1. Учения на философском фронте

> **Он по-марксистски совершенно**
> **Мог изъясняться и писал;**
> **Легко ошибки признавал**
> **И каялся непринужденно... ***

Даже в условиях иерархической сталинской диктатуры «начальники» не были полностью ограждены от критики снизу. В некоторых обстоятельствах такая критика не только оказывалась возможной, но поощрялась и даже требовалась.

Это, конечно, хорошо знали представители советских философов, которых пригласили от имени Центрального Комитета на заседание 16 июня 1947 г. Открыл собрание член Политбюро, отвечавший тогда за идеологическую работу, первый секретарь ЦК и в то время сталинский фаворит Андрей Александрович Жданов. В коротком вступительном слове он проинформировал участников о поставленной перед ними задаче: критическом обсуждении книги Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии». Выразив надежду, «что товарищи, приглашенные для участия в дискуссии, примут самое активное участие в ней, высказав свободно все критические замечания и пожелания», но не предоставив более подробных инструкций, Жданов пригласил желающих записаться для выступлений и открыл прения [10, с. 6].

Чтобы оценить «черный юмор» возникшей ситуации, надо поставить себя на место рядового советского философа, для которого Александров был не только прямым начальником по профессии, но и высокопоставленным авторитетом по партийной линии. Не достигнув еще и сорока лет, ждановский протеже Г. Ф. Александров сделал головокружительную карьеру в партийном аппарате. В 1940 г. недавний выпускник ИФЛИ был назначен на пост начальника одного из важнейших отделов ЦК — Управления пропаганды и агитации (Агитпропа). В следующем году — стал кандидатом в члены ЦК и членом Оргбюро. Его специальные философские работы были посвящены не самым типичным для партийного бюрократа темам, а именно — Аристотелю и истории домарксистской философии. В 1946 г., благодаря резко возросшему влиянию А. А. Жданова и новому упору на идеологи-

* Автор пародии нам неизвестен, посему отношу цитату к советскому фольклору. Как и пушкинский оригинал, она характеризует стандартный образовательный минимум, которым должен был обладать представитель советской элиты своего времени.

ческую работу, Агитпроп оказался в самом центре политической активности партии, а Александров как руководитель этого подразделения — в зените своей политической карьеры. Тогда же он присовокупил к этому еще и высокий академический статус новоизбранного действительного члена Академии наук СССР и лауреата Сталинской премии, которая была присуждена ему за книгу «История западноевропейской философии» (см. [29; 30, с. 58–68; 31]).

В обычных обстоятельствах Г. Ф. Александров мог давать советским философам руководящие указания и устраивать «нагоняй» за допущенные ошибки, а они сочли бы большой честью для себя опубликовать хвалебную рецензию на его книгу. Но в особом ритуальном пространстве предложенной дискуссии обычные иерархические роли оказались перевернутыми, и от философов потребовали «принципиальной критики» книги и ее высокопоставленного автора.

Рядовому участнику этого мероприятия не так-то просто было угадать, насколько задача «принципиальной критики» поставлена серьезно. Первая попытка дискуссии по книге «История западноевропейской философии» состоялась еще в январе 1947 г. в Институте философии АН СССР и проводилась под руководством коллеги Александрова по Агитпропу Петра Николаевича Федосеева (см. [11, с. 87; 32]). Однако ЦК остался неудовлетворен ее итогами и уровнем высказанной критики. По словам Жданова, прошедшая тогда дискуссия оказалась «бледной, куцей, неэффективной» [10, с. 5]. На вторую попытку пригласили большее число участников, а сам Жданов появился в качестве председательствующего, призывая собравшихся открыто критиковать недостатки книги.

Аудитория оправдала его надежды и продемонстрировала настоящую активность. Дискуссия длилась более недели, выступили почти 50 человек, а еще 20, которым не хватило времени, просили включить тексты их выступлений в протокол собрания, который вскоре был опубликован. Из некоторых оброненных замечаний присутствующие могли сделать вывод, что сам Сталин выразил свое недовольство книгой.

Исследователь истории этой дискуссии В. Д. Есаков пришел к заключению, что началом всей цепи данных событий послужило письмо на имя Сталина одного из недоброжелателей Александрова, философа из МГУ З. Я. Белецкого. Это письмо обсуждалось на Секретариате ЦК в декабре 1946 г., и в результате было принято решение организовать публичную критическую дискуссию (см. [11, с. 86–87])*.

Философам не было известно, что же конкретно не понравилось Сталину в книге Александрова, и им пришлось, как говорится, своим умом находить в ней ошибки, стараясь угадать правильный тон. В конечном счете был высказан довольно широкий спектр мнений о научных и политических недостатках книги «История западноевропейской философии».

«Зубры» советской философии (и персональные враги Александрова) М. Б. Митин и П. Ф. Юдин, вероятно, надеялись, что дискуссия разрушит карьеру молодого выскочки и восстановит их собственный авторитет в данной области. Поддерживаемые З. Я. Белецким и А. А. Максимовым, они критиковали «примиренческую позицию» первой попытки обсуждения книги и призывали к «принципиальной критике» и «воинственности» в борьбе с буржуазной идеологией. В рядах умеренных критиков было несколько активных молодых философов — например, Б. М. Кедров и М. Т. Иовчук. Они провозглашали лозунги «творческой критики» и «дальнейшей творческой разработки марксистской философии». Многие другие, не принадлежавшие ни к «воинствующей», ни к «творческой» линии и

* Еще несколько человек приписывали себе заслугу, что они сигнализировали в ЦК об ошибках книги (см. [32, л. 111; 33, л. 9–37]).

не имевшие личных причин быть «за» или «против» Александрова, были просто рады возможности выступить перед Ждановым, продемонстрировать свою активность и способности, не забывая при этом упомянуть о разнообразных собственных интересах*.

А. А. Жданов взял слово и подвел итоги прошедшему обсуждению лишь после того, как выслушал всех остальных критиков. По его словам, книга Александрова, будучи первой серьезной попыткой создания марксистского учебника по истории философии, в целом не оправдала возложенных на нее надежд и не достигла поставленной цели.

Он привел несколько примеров плохого стиля, процитировал ряд неточных определений, указал на допущенные фактические и политические ошибки, в числе которых был и упрек в «объективизме», т. е. в недостаточной критичности автора по отношению к домарксистской буржуазной философии. По мнению Жданова, анализ вскрытых недостатков учебника был очень важен не только сам по себе, но и как отражение общего неблагополучного положения в советской философии. Он подчеркнул, что некритическое восприятие и похвальные отзывы на книгу — до тех пор пока не вмешался лично товарищ Сталин — свидетельствовали о том, «что на философском фронте отсутствует развернутая большевистская критика и самокритика». Комбинируя лозунги конкурируюших философских групп, Жданов упрекнул философов в *схоластике и примиренчестве*, в *боязни творчески развивать марксистское учение* и *воинственно бороться с идеалистическими извращениями*.

Выступавший заявил, что Александров не сумел обеспечить должного руководства вверенной ему областью:

> Больше того, он чересчур опирается в своей работе на узкий круг ближайших сотрудников и почитателей таланта. (Возгласы: Правильно! Аплодисменты.) Философская деятельность оказалась как-то монополизирована в руках небольшой группы философов [10, с. 267–269].

На последнем заседании Г. Ф. Александрову была предоставлена возможность для самокритики. Технически ему предстояло исполнить сложную роль: с одной стороны, ритуал полностью исключал использование оправдательного тона; с другой же — совсем не в интересах автора книги было поддерживать самые серьезные из выдвинутых обвинений. Для того, чтобы все мероприятие могло успешно и достойно завершиться, Александров должен был верно оценить настроение публики и высоких судей и выбрать правильный тон самообвинения, свидетельствующий об искренности его «раскаяния». Сделав это в основной части своего выступления, поблагодарив всех за раскрытие допущенных ошибок и перечислив их еще раз, Александров к концу речи сменил кающийся тон на поучающий и призвал собравшихся философов учиться на его ошибках и выправить положение на философском фронте [10, с. 288–299].

Сталинская система предпочитала строгие «черно-белые» категории взвешенным полутонам и часто не могла воздержаться в своих политических оценках от крайностей — чрезмерных похвал или убийственных обвинений. В случае с Александровым, однако, критика не разрушила его карьеру полностью, хотя и нанесла

* О вражде М. Б. Митина и Г. Ф. Александрова, а также о борьбе группировок в среде советских философов, сообщают справки Д. Чеснокова и Агитпропа Г. М. Маленкову и М. А. Суслову в 1949 г. (см. [34, л. 20–26; 35, л. 8–36]). Сравнить лозунги «творческой» и «воинствующей» линий философов можно по передовым статьям в журнале «Вопросы философии» (см. [36–37]).

ей большой урон. Еще три месяца Александров оставался начальником Агитпропа и даже не терял надежды сохранить свои позиции, представив в ЦК план дальнейшей работы (см. [11, с. 96–97; 38, л. 154–158]). Но в сентябре 1947 г. Секретариат ЦК рассмотрел на своем заседании итоги прошедшей философской дискуссии и принял решение о смещении Александрова с его важного партийного поста [39]. Его понизили в должности и назначили директором Института философии, как бы давая тем самым возможность непосредственно следить за тем, как его критики учатся на его же ошибках.

Репутация все же была «подмочена», и Александрова продолжали часто критиковать во внутренних партийных рапортах, особенно после смерти его патрона А. А. Жданова в августе 1948 г. В июле 1949 г. Александров был обвинен в политических ошибках, выведен из редколлегии главного партийного теоретического журнала «Большевик» и примерно на год исчез с политической арены. Затем он сумел вернуться в политику и даже вновь войти в милость в период больших перемен, последовавших вслед за смертью Сталина. В 1954 г. Александров был назначен министром культуры СССР, но уже в следующем году смещен за «развратное поведение». Его перевели в Минск, где он и умер в 1961 г., будучи рядовым сотрудником Института философии Белорусской академии наук (см. [34, л. 1–51; 40, л. 91–98; 41, с. 215, 221; 42; 43]). Так окончилась эта довольно необычная для советского бюрократа карьера.

2. Игры внутрипартийной демократии

> **Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без нее неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина рабочего класса. Конечно, самокритика дает материал врагам. В этом Вы совершенно правы. Но она же дает материал (и толчок) для нашего продвижения вперед...**
>
> *Иосиф Сталин, 1930 г.* *

Публично разыгранное представление, описанное в предыдущем разделе, может сейчас кое-кому показаться странным, но для советской аудитории оно было примером хорошо знакомых культурных ритуалов — таких, как *«дискуссия»* и *«критика и самокритика»*. Эти ритуалы развились и обычно исполнялись в партийных структурах и принадлежали к репертуару так называемой «внутрипартийной демократии».

Советскую, в частности внутрипартийную, демократию исследователи интерпретировали по-разному. Мерле Файнсод считал ее не более чем пропагандой, «словесным маскарадом» (см. [45, с. 209–215]); Рой Медведев воспринимал ее более серьезно, как элемент истинной демократии, и протестовал против нарушений декларируемых принципов в партийной жизни (см. [46, с.124–156]).

Позднее Арч Гетти обратил внимание на такую функцию «внутрипартийной демократии», как контролирование центром местных партийных руководителей при помощи рядовых членов партии, и развил концепцию, что при определенных условиях процесс мог стать неуправляемым и породить массовую чистку и репрессии (см. [47, с. 97–98, с. 141–142]).

* Письмо А. М. Горькому 17 января 1930 г. Впервые опубликовано в 1949 г.: [44, т. 12, с. 173].

Сами коммунисты разъясняли, что внутрипартийная демократия необходима для отчетности официальных лиц перед партийными массами, и считали ее главным орудием в борьбе против бюрократизма и разложения в партийном аппарате. Хотя централизм и иерархическая дисциплина были основными принципами партийной организации, теоретики партийного дела понимали, что при такой системе у местных секретарей оставались большие возможности злоупотреблять властью и блокировать поступление «наверх» объективной информации о ситуации на местах. Чтобы воспрепятствовать этому, партийное руководство старалось установить систему противовесов и обратной связи, которая определяла возможность, формы и границы для контроля аппарата «снизу». В сочетании с принципом административной иерархии эта система получила своеобразное название «демократический централизм» и, как мы вскоре увидим, могла приводить к весьма своеобразным результатам.

В разных контекстах внутрипартийная демократия могла осуществлять все вышеупомянутые функции — пропагандистскую, демократическую, или популистскую, контролирующую и репрессивную — но было бы упрощением сводить ее лишь к одной из функций и этим определять сущность внутрипартийной демократии. Скорее, мы имеем дело с системой специфических ритуальных форм, которые могли наполняться разным конкретным содержанием в зависимости от ситуации. В политической культуре сталинского общества для тех, кто был в ней воспитан, эти ритуалы имели ценность сами по себе, а не только из-за их предполагаемой полезности, и обладали достаточной принудительной силой, чтобы им обязаны были публично подчиняться даже такие высокие партийные авторитеты, как, скажем, А. А. Жданов.

«Ритуал» здесь и ниже понимается как этнографический термин и употреблен не в том несколько пренебрежительном смысле, в каком это слово часто фигурирует в обыденной речи. Современная этнография давно отошла от упрощенного представления о ритуалах как имеющих чисто символически-формальное значение, строго зарегулированных и нетворческих действий. Напротив, они понимаются как особые формы жизни, специфические и центральные для каждой культуры.

Ритуалы являются формализованными коллективными действиями, предписывающими определенную организацию пространственных движений и вербального дискурса, ключевыми для самосознания и самоидентификации социальных групп и коллективов. Для их представителей ритуалы имеют наряду с приписываемой им утилитарной ценностью также и особый сакральный смысл.

Хотя эти коллективные представления совершаются по определенным правилам, они не являются застывшими, окаменевшими или чисто формальными действиями, но — «совершают работу, производят эффекты и оказывают воздействие на мир». Ритуал, выражаясь словами современной этнографии, это — «арена противоречащих и соперничающих устремлений ... и он фактически творится по мере того, как совершается» [48, с. 1–4, с. 13–18].

Пристрастие сталинской культуры к коллективным формализованным действам общеизвестно (см. об этом, напр. [49]). Самым распространенным и массовым их видом были местные собрания различных учреждений или партийных организаций, на которых обсуждались и решались разнообразные вопросы повседневной жизни. Репертуар *«собраний»* и соответствующих им жанров вербального дискурса был весьма богат, равно как и набор названий, которые использовались в политическом лексиконе того времени *(совещание, заседание, встреча, дискуссия, обсуждение, конференция, прием, собеседование, сессия, чествование* и др.). С определенными оговорками можно установить некоторые корреляции между названиями *собраний* и их типами (впоследствии я буду использовать слово *«собрание»* как

общий термин, а более специализированные имена в тех случаях, где следует подчеркнуть особенности того или иного ритуала).

Так, например, собрание, на котором участники знакомились с неким авторитетным решением или документом и делали из него выводы в применении к местной ситуации, обычно называлось *«обсуждением»*. Если же собрание именовали *«дискуссия»*, то это означало, что участников приглашали продемонстрировать умение вести полемику вокруг теоретического вопроса, по которому еще не существовало авторитетного постановления. В обществе, не признающем, вообще говоря, плюрализма политических мнений, ритуал дискуссии создавал особое пространство, где на время могли разрешаться публичные разногласия даже по важным политическим вопросам, часто именно с целью выработки официального решения (иногда с помощью голосования на самом собрании, иногда на основе прошедших прений в высшей инстанции). На этом обычно плюрализм заканчивался, устанавливалось единомыслие и дальнейшие выражения несогласия не разрешались.

В самых серьезных дискуссиях 20-х гг., когда разногласия угрожали расколом партии, для установления консенсуса использовалось такое собрание, как *партийный съезд*.

Официально съезд обладал высшим партийным авторитетом; голосованием на нем диспут прекращался раз и навсегда, и оппозиция (т. е. проигравшая сторона) должна была «разоружиться» и прекратить дальнейшую полемику*.

Как и *«дискуссия»*, *«критика и самокритика»* входила в репертуар внутрипартийной демократии, но применялась, как правило, для обсуждения не теоретических, а персональных вопросов. Бертольд Унфрид характеризовал этот ритуал как сводящийся к диалектической комбинации двух функций — инициации (воспитание и посвящение партийных кадров) и террора (выявление и уничтожение внутренних врагов) (см. [50]). Испытание *«критикой и самокритикой»* было необходимой частью обучения новых членов партии, важнейшей проверкой усвоения ими ценностей и норм партийной культуры. Тот, кто успешно демонстрировал умение *критиковать* товарищей, заниматься *самокритикой* и подчинять личное мнение коллективному, доказывал тем самым свою принадлежность к партийному сообществу. Этот же ритуал использовался и при чистке партии с целью разоблачения и обвинения внутренних (но не внешних) врагов.

Для представителей той политической культуры ритуал *«критика и самокритика»* обладал такой принудительной сакральной силой, что даже перед лицом смертного приговора на московских процессах 30-х гг. бывшие оппозиционеры продолжали доказывать свой внутренний статус члена партийного сообщества, *публично* признавая воображаемую вину и каясь, а отрицали обвинения лишь в последних *личных* письмах Сталину или Партии (см. об этом [51]).

Арч Гетти описал еще одну функцию *«критики и самокритики»* — как возможность корректировать действия местных партийных руководителей «снизу». В обычных обстоятельствах партийные секретари управляли вполне авторитарно и их приказы не обсуждались подчиненными. Но в ритуальном пространстве специального собрания существовавшая иерархия могла временно перевертываться: *критика* снизу поощрялась, а ее подавление запрещалось, в частности, требованием *самокритики* (см. [47]).

По мнению коммунистов, этот демократический ритуал позволял выявлять недостатки и случаи злоупотребления властью, «как бы это ни было неприятно для

* Теоретическая открытость исхода полемики при этом, конечно, не исключала подтасовок и манипуляций, которые должны были обеспечить ЦК необходимое большинство на съезде.

руководителей» [47, с. 50, 67, 134–135, 145, 224]. В идеале считалось, что он должен действовать постоянно, но на практике публичное представление, именуемое *«критика и самокритика»*, разыгрывалось лишь от случая к случаю и обычно требовало разрешения или инициативы «сверху». Этот ритуал применялся, например, в том случае, когда руководству партии необходима была общественная поддержка для смещения местного функционера с его поста. Иногда же руководители, не будучи уверенными в подлинной виновности своего функционера, устраивали ему публичное испытание. Этот метод использовался также как аналог христианского ритуала «исповеди» для периодического очищения системы — например, при выборах на партийные должности.

Анализ Философской дискуссии 1947 г. как комбинации двух ритуалов — *«критики и самокритики»* и *«дискуссии»* — поможет понять некоторые их внутренние правила. Следование правилам необязательно подразумевает наличие явно сформулированных норм, но, по крайней мере, участники действий должны верить, что какие-то правила существуют. Как отметил Д. Паркин, «даже когда ни наблюдатели, ни участники не могли договориться, понять или даже осознать правила ритуала, их все равно объединяло чувство, что событие каким-то способом регулируется и что это необходимо для того, чтобы оно совершилось правильно и эффективно» [48, с. 15].

Члены партии изучали партийные ритуалы не по учебникам и даже не столько по уставу, сколько наблюдая и участвуя в самих действиях. Стиль их поведения и выступлений на собрании во многом определялся объявленным типом ритуала.

Ощущение наличия достаточно определенных правил сопровождало Философскую дискуссию 1947 г. на всем ее протяжении. Участники наблюдали друг за другом и критиковали возможные нарушения этих правил — такие, как *замена принципиальной критики личной враждой и сведением счетов* и особенно — *попытки самооправдания вместо искренней самокритики*. По законам ритуала, процедура не считалась успешно совершившейся, если не было *«искреннего раскаяния и самокритики»*. Г. Ф. Александров продемонстрировал профессиональное умение играть по правилам, тем самым подтвердив свою лояльность и свой внутренний статус члена коллектива. Однако когда физиолог Л. А. Орбели во время Павловской сессии 1950 г. вместо *самокритики* попытался протестовать против обвинительного тона критики, это нарушение правил разъярило аудиторию больше, чем все прочие приписываемые ему грехи. В конце собрания Орбели пришлось произнести действительно покаянную речь [16, с. 165, 501].

Это ощущение общей отрегулированности действия исследователи часто ошибочно принимали за предрешенность результата собрания. Но строгое следование правилам вовсе не противоречит открытости результата — как, например, в случае публичных состязаний типа *«дискуссия»* или *«критика и самокритика»*. Их содержание и конечные выводы во многом зависели от самого процесса, интересов и действий участников. Обратим внимание на то, что теоретические ошибки Г. Ф. Александрова заранее не были известны участникам Философской дискуссии, а должны были быть найдены в ходе обсуждения. Что касается его личной карьеры, то испытание *«критикой и самокритикой»* могло закончиться целым спектром возможных оргвыводов: вообще говоря, от разоблачения его как «врага» до фактического оправдания.

Этот партийный ритуал, как и церковное покаяние, мог быть не только деструктивным, но и конструктивным: самокритика могла, например, помочь продвижению по службе при выборах местных партийных руководителей. Такой класс ритуалов, *носящих характер публичного состязания с более или менее заданными*

правилами, но с открытым результатом, можно более точно определить общим термином ***игры****.

На примере Философской дискуссии можно также изучать характерную ролевую структуру обеих игр. Каждая из них создавала особое ритуальное пространство, в котором частично не действовал обычный порядок вещей (иерархия власти или же строго однозначная теоретическая определенность). Как правило, для проведения таких игр требовалось разрешение (одобрение) сверху или же объявление о проведении общей кампании, скажем, партийной чистки или перевыборов. Обычно на игре должен был присутствовать представитель центра в роли «модератора» или «спикера». Он не был абсолютно беспристрастным и старался направлять обсуждение в желаемое русло, но не имел права вставать слишком явно на сторону какой-либо из состязающихся сторон**.

Так, присутствие А. А. Жданова в этой роли на Философской дискуссии было необходимо для того, чтобы, во-первых, объявить тип собрания и его тему; во-вторых, подавить «аурой» своей власти обычную иерархию между Александровым и его подчиненными и дать последним возможность критиковать начальство; в-третьих, наблюдать за процедурой и соблюдением правил. Иногда, но не всегда, состязанию требовался специальный арбитр, но эта роль могла исполняться различными органами и персонами. По ходу Философской дискуссии многие участники прямо или косвенно апеллировали к ЦК партии как к арбитру. Действительно, позднее именно секретариат ЦК рассмотрел стенограмму собрания и вынес решение о дальнейшей карьере Александрова, исполнив роль арбитра в игре, именуемой *«критика и самокритика»*.

Итоги игры под названием *«дискуссия»* в заключительном слове подвел сам Жданов; обобщив теоретические выступления, он тем самым зафиксировал официальный консенсус [10, с. 255–272].

Сравнительно немногое пока известно о происхождении этих партийных ритуалов, но во всяком случае вряд ли стоит искать их корни в самом учении марксизма, оригинальном или же развитом Лениным. Очевидно, что сначала они возникли в партийной коммунистической практике и только позднее получили теоретическое обоснование.

«Дискуссия» как способ обсуждения и устранения фракционных разногласий внутри партии существовала в какой-то форме еще до революции и уж точно сформировалась к 1920 г. В пространственных и временных рамках этого ритуала оппозиция пыталась добиться права критиковать курс руководства партии.

«Самокритика» как лозунг и как политическая кампания возникла весной

---

* Метафору эту следует понимать не в смысле теории игр, но в расширенном смысле витгенштейновской философии (см. [52, §66–71, с. 110–113]). В рамках данного исследования лучше всего подходит мысленная аналогия с детской игрой, скажем, в футбол. Представим, что подростки играют в ту игру, которую они сами считают «футболом». Иными словами, они ориентируются на определенные «взрослые» образцы, но по ходу дела могут спорить о правилах данной игры, о чем-то договариваться, а также изобретать новые правила.

** В своей теоретической модели *«критики и самокритики»* Гетти описывает роли рядовой партийной массы и критикуемого руководителя, но не выделяет специально «модератора» как третьего ролевого участника. Однако не составляет труда заметить, что этот персонаж появляется всегда, когда Гетти описывает в деталях некое реальное собрание [47, с. 72, с. 151–153]. Иногда собрание могло выйти из-под контроля этого «модератора»: в одном из эпизодов, который приведен у Гетти, разгневанные коммунисты взбунтовались и переизбрали секретаря райкома, несмотря на попытки защитить последнего со стороны присутствовавшего на собрании представителя обкома.

1928 г. и означала «чистку партии снизу», которая реально позволила молодым радикалам критиковать умеренных вождей и свернуть НЭП*.

К 1935 г. ритуал сменил свое название на более развернутое — ***«критика и самокритика»*** — и широко применялся при партийных чистках и проверках. А. А. Жданов был его основным пропагандистом и сторонником среди высшего партийного руководства. *«Критика и самокритика»* получила признание как один из главных принципов партийной жизни, все члены партии учились ей и применяли в различных ситуациях внутри партийных и советских структур. Но к моменту Философской дискуссии 1947 г. ритуал еще не имел обоснования с точки зрения высокой марксистской теории.

Первый набросок такого обоснования Жданов дал в своей заключительной речи на Философской дискуссии. Сначала он хотел приписать авторство концепции Сталину, но Сталин вычеркнул это из рукописи (см. [11, с. 92]). В итоге Жданов сказал:

> Наша партия уже давно нашла и поставила на службу социализму ту особенную форму раскрытия и преодоления противоречий социалистического общества (а эти противоречия имеются, и о них философы не хотят писать из трусости), ту особенную форму борьбы между старым и новым, между отживающим и нарождающимся у нас в советском обществе, которая называется критикой и самокритикой. В нашем социалистическом обществе... развитие от низшего к высшему происходит не в форме борьбы антагонистических классов и катаклизмов, как это имеет место при капитализме, а в форме критики и самокритики, являющейся подлинной движущей силой нашего развития, могучим инструментом в руках партии. Это безусловно новый тип движения, новый тип развития, новая диалектическая закономерность [10, с. 270].

Его речь стимулировала дальнейшие теоретические обоснования существовавшей практики, согласно которым *«критика и самокритика»* обеспечивала социалистическому обществу аналог того, что «буржуазная демократия» давала капитализму: механизм социальных инноваций и изменений. Утверждалось, что в условиях однопартийной системы, когда не было конкурирующей политической партии для критики извне, коммунистическая партия должна была взять на себя ношу самокритики с целью вскрытия и устранения собственных недостатков, совершенствования и дальнейшего развития (см. [7; 57–59]). Именно так в применении к своей собственной партии коммунисты интерпретировали демократическую идею.

3. Открывая ящик Пандоры

> **...большие и серьезные задачи, встающие во весь рост перед советской наукой, могут быть успешно разрешены только при условии широкого развертывания критики и самокритики — «одной из серьезнейших сил, двигающих вперед наше развитие»...**
>
> *1948 г. [60, с. 13]***

Согласно официальному мнению, Философская дискуссия «оживила работу на философском фронте и вызвала ее дальнейший прогресс». Ее непосредственным

* О партийных постановлениях и кампании *самокритики* 1928 г. см. [53–55]. Описание кампании, проходившей в Московской партийной организации, см. в [56, с. 198–215].

** Конец предложения — это цитата из раздела «О самокритике» в докладе Сталина «О работах апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК» 13 апреля 1928 г. [44, т. 11, с. 29].

результатом стало основание нового журнала «Вопросы философии», главным редактором которого был назначен Б. М. Кедров. Во время дискуссии он выступил в поддержку идеи о профессиональном философском журнале и сумел послать А. А. Жданову записку с просьбой об аудиенции (см. [11, с. 93–102; 61]).

Весь первый номер журнала заняла стенограмма прошедшей дискуссии, благодаря чему широкая публика ознакомилась с новым важным вкладом в марксистское учение — развитой А. А. Ждановым и одобренной Сталиным теорией *«критики и самокритики»*. Партийные аппаратчики получили новый актуальный лозунг, который они могли интерпретировать и применять в своей работе. В случае успеха демонстрация инициативы могла бы принести вознаграждения и способствовать карьере. В то же время риск нельзя было полностью исключить, и, как мы вскоре увидим, даже те, кто стремились всегда действовать политически правильно, могли попасть под удар за реальные, предполагаемые или выдуманные ошибки.

В самой стенограмме Философской дискуссии пока ничто еще не намекало на возможность распространения *«критики и самокритики»* на другие области науки. Но уже через несколько месяцев лозунг *«критика и самокритика в науке»* стал актуальной политикой Агитпропа — отдела ЦК, которым после смещения Александрова стали руководить новые лица: формально — секретарь ЦК М. А. Суслов, а реально — его заместитель Д. Т. Шепилов. Впрочем, наиболее активная роль в инициативе этой кампании принадлежала, по всей видимости, аппаратчикам среднего звена: Кедров первым опубликовал теоретическую статью на эту тему в феврале 1948 г., а позднее итоги кампании *«критика и самокритика в науке»* подводили бывший работник Агитпропа М. Т. Иовчук и молодой выпускник МГУ Ю. А. Жданов (сын А. А. Жданова), который в конце 1947 г. был назначен в Агитпроп на должность заведующего сектором науки (см. [8; 9; 62; 63]).

В каком-то смысле, идея распространить на другие науки методы *«дискуссий»* и *«критики и самокритики»* лежала на поверхности. Философская дискуссия 1947 г. как ***игра*** была прежде всего партийным собранием, и члены партии, в ней участвующие, в данном случае лишь по совместительству оказались именно философами. Но поскольку философия официально считалась одной из наук, естественно предположить, что этот метод окажется не менее эффективным и в других дисциплинах. Двойственный статус философии — как партийной, но также и научной деятельности — облегчил перенос игр, именуемых *«дискуссия»* и *«критика и самокритика»*, из политической области в академическую.

Жизнь научного сообщества, политика, касающаяся науки, основные мероприятия, назначения на должности отражались в официальном ежемесячном журнале «Вестник АН СССР». Если статью Б. М. Кедрова «Значение критики и самокритики в развитии науки (К вопросу о роли отрицания в диалектике и метафизике)» в февральском номере «Вестника» 1948 г. еще можно было воспринимать как личную точку зрения автора, то появление в следующем мартовском номере, передовой статьи «Первые итоги творческих дискуссий» уже явно свидетельствовало об идущей политической кампании (см. [60; 62]). Передовицы без подписи были стандартным способом информировать о таких кампаниях и направлять их ход.

В этой статье [60] дан обзор прошедших «творческих дискуссий»: философской дискуссии (о которой шла речь выше), дискуссии по книге академика Е. С. Варги «Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны», обсуждений учебников по языкознанию, праву, истории СССР, дискуссии по проблеме внутривидовой борьбы в биологии и т. д. Отметив, что «в ряде случаев ини-

циатива обсуждения непосредственно исходила со страниц центрального органа нашей партии газеты „Правда" и органа Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) „Культура и жизнь"», авторы заключали статью следующими словами:

> Отрицательные явления, вскрытые в ходе обсуждений и дискуссий, — в значительной мере следствие недостаточного развития в ряде научных учреждений Академии Наук СССР большевистской критики и самокритики. ...Задачи, поставленные историей перед советской наукой, — велики. ...Опираясь на неизменную заботу и помощь партии и правительства и лично товарища Сталина, мы эти задачи разрешим, ибо силы у нас есть... Эти силы немалые.., эти силы способны вскрыть свои ошибки для того, чтобы их преодолеть [60, с. 5, 13–15].

Данная статья подчеркивала связь этой новой инициативы Агитпропа с общим «поворотом на идеологическом фронте» лета 1946 г., который тогда затронул литературные журналы, театры, кино, а также академические институты по экономике и праву. Впрочем, необходимо отметить одно существенное обстоятельство. В известном докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград» (август 1946 г.) А. А. Жданов призывал к усилению критики:

> Там, где нет критики, укореняется затхлость и застой, там нет места движению вперед [64].

Но при этом имелось в виду, что критика будет исходить от самой партии. На совещании в Агитпропе 18 апреля 1946 г., где обсуждались первые планы по активизации идеологической работы, Жданов высказал озабоченность отсутствием критики в таких структурах, как Союз писателей СССР и Всесоюзный комитет по делам искусств:

> Мы должны организовать критику от авангарда до народа... Кто может исправить ведомственную установку, которая извращает дело и противоречит интересам народа? Конечно, только партийное вмешательство через свою критику, через организацию своей критики партийной в противовес ведомственной [65, л. 40].

И действительно, решения по делам культуры принимались открыто от имени партийных органов, которые считали себя достаточно компетентными, чтобы оценивать любые театральные постановки, фильмы, литературные и музыкальные произведения. Затем писатели и режиссеры собирались, чтобы *обсудить* уже принятые авторитетные партийные решения*.

Когда же в 1947 г. дело дошло до дискуссий в науке, политики преимущественно действовали закулисно, а публичные представления разыгрывали ученые, и авторитетные решения выносились от имени академических, а не партийных инстанций. Это отличие показательно для понимания особой роли науки в сталинском обществе. Советский марксизм одновременно признавал как объективность научных истин, так и их связь с политическими и социальными интересами, т. е. принимал одновременно основные идеи «научного реализма» и «социального конструктивизма» — основные постулаты двух подходов, которые, как считается, противостоят друг другу. Решение этого сложного теоретического противоречия на

---

* Кампанию творческих дискуссий в науке также не стоит смешивать с параллельными кампаниями 1947 г. по воспитанию советского патриотизма (см. [51; 66]) и 1949 г. по травле «космополитов» (см. [67]). Хотя в их идеологической лексике было много общего, правила игры различались. К анализу этих различий я надеюсь вернуться в другой своей работе.

практике обычно приводило к попыткам провести границу между областью специальных проблем науки, где ученые сами выносили свой вердикт, и философскими интерпретациями, где политики имели право и обязанность вмешиваться в жизнь научного сообщества и взаимодействовать с учеными (см. [28, с. 38–39]).

Так или иначе, но для обсуждения специальных научных вопросов авторитета одних политиков и философов было недостаточно, что и отразилось в выборе рекомендованных *игр* — *«дискуссия»* (со специально изобретенным прилагательным *«творческая»*) и *«критика и самокритика»*. Взятые из репертуара внутрипартийной демократии, эти игры якобы провоцировали критическую активность самих ученых и проявление инициативы снизу*.

В принципе, ученые могли по-разному отреагировать на это приглашение сыграть в партийные игры на своей собственной территории. Достаточной демонстрацией лояльности было *обсуждение* Философской дискуссии на институтском собрании и принятие резолюции, которая заверяла бы, что дискуссии и критика всегда были и будут важнейшей предпосылкой научной работы. Некоторые ученые интерпретировали новые лозунги как разрешение высказывать более свободные и неортодоксальные идеи**. Больше всего было собраний, на местном материале непосредственно имитирующих Философскую дискуссию и обсуждавших какой-нибудь учебник или книгу, поскольку сам образец для подражания был «обсуждением учебника» (см., напр.: [71; 72]).

Философы, знакомые с правилами игры лучше многих других, еще раз продемонстрировали свое острое политическое чутье. Собрание в Институте философии в январе 1948 г. стало миниатюрной копией дискуссии 1947 г. Главные роли исполняли: Г. Ф. Александров, директор Института (в роли мини-Жданова), председательствовал на собрании, а Б. М. Кедров (в роли мини-Александрова) представил для критического обсуждения свою книгу «Энгельс и естественные науки». Один из главных инициаторов всей проводимой кампании, Кедров, тем самым демонстрировал *активный пример*. Впрочем, оба главных персонажа достаточно хорошо контролировали ситуацию, и собрание лишь подтвердило существующую иерархию: высказав умеренные похвалу и критику в адрес книги, аудитория в большинстве своем обратилась против главного оппонента Кедрова — А. А. Максимова, порицая его за несправедливое и догматическое использование критики (см. [73]).

Хотя содержание и результаты проводимых собраний не были строго детерминированы, наличные риторические и культурные ресурсы во многом определялись общим контекстом событий. Использование политической лексики и обвинений в качестве аргументов в научных конфликтах и направление в высшие инстанции критических писем и доносов на научных противников были распространенным явлением в советской науке еще с конца 20-х гг. (см. [5]). Агитпроп был завален подобными письмами (они сохранились в его архиве), но лишь сравнительно немногие из них могли привлечь серьезное внимание. С новой кампанией критических дискуссий появилась и соблазнительная возможность разыгрывать академические

* Эта принципиальная особенность игр внутрипартийной демократии не была понята в работе [68, с. 94–95], где, в соответствии с общей моделью тоталитарной «репрессированной науки», роль *«критики и самокритики»* интерпретируется как стремление выкорчевать любые проблески самостоятельного мышления и создать специфическую партийную и марксистскую науку.

** Так, например, отреагировали физики, которые выступили с инициативой провести дискуссию по статье М. А. Маркова, где автор пытался примирить копенгагенскую интерпретацию квантовой механики с марксизмом (см. [28, с. 41–42; 69; 70]).

конфликты на более высоком уровне и в санкционированных «сверху» формах. Кампания стимулировала диалог между учеными и политиками — как публичный, так и неофициальный, кулуарный.

В стремлении разрешить конфликты в свою пользу отдельные ученые и их группы искали поддержки «в верхах» и апеллировали к партийным инстанциям как к арбитрам, переводя для этой цели академические разногласия на понятный аппаратчикам язык текущей политики и идеологии. Конкурировавшие академические группировки соревновались в риторическом умении различными способами драпировать свою науку в тогу идеологии.

Работники Агитпропа нисколько не сомневались, что, как выразился Г. Ф. Александров, «критика и самокритика — это общий закон развития науки» [74]. Их собственное участие в этих дискуссиях, однако, могло проявляться поразному. В таких дисциплинах, как философия, политическая экономия, право, именно политики инициировали дискуссии и задавали их общую тональность.

В большинстве других областей науки им просто не хватало компетенции для того, чтобы иметь собственные интересы и предпочтения; здесь Агитпроп был более заинтересован в самом факте дискуссии, чем в ее конкретном исходе, а собрания организовывались самими учеными и зависели от расклада сил в академической иерархии. И, наконец, в некоторых случаях аппаратчики прислушивались к политизированной аргументации ученых и брали на себя роль арбитра. Два примера событий подобного типа будут подробно разобраны ниже.

Прежде всего, необходимо применить развитую здесь модель к анализу событий в биологии, завершившихся Августовской сессией ВАСХНИЛ 1948 г. Поскольку этот случай был парадигмальным для большинства предшествовавших интерпретаций, он нуждается в специальном анализе.

4. Преодоление разногласий и установление консенсуса

В науке, как и в политике, противоречия разрешаются не путем примирения, а путем открытой борьбы.

*Андрей Жданов и Георгий Маленков, июль 1948 г.**

Серьезный теоретический конфликт в советской биологии существовал задолго до 1948 г. Положение генетиков сильно ухудшилось уже в конце 1930-х гг.: Н. И. Вавилов и несколько других видных деятелей погибли во время великих репрессий, а Лысенко возглавил ВАСХНИЛ и Институт генетики АН СССР. Сразу после окончания войны генетики попытались изменить ситуацию, и им удалось несколько потеснить ведущие позиции Лысенко. Один из них, А. Р. Жебрак, в 1945–1946 гг. работал в Агитпропе и направил несколько писем в ЦК о том, что монополия Лысенко вредит репутации советской науки в глазах союзников по антигитлеровской коалиции. Жебрак пробивал решение об организации еще одного генетического института в системе Академии наук, намереваясь стать его директором (об этих и других атаках на Лысенко см. [2; 3; 76; 77; 78]). Однако осенью 1946 г. во время выборов в Академию, проходивших на альтернативной основе, оказался избран не Жебрак, а другой генетик — Н. П. Дубинин, и, несмотря на оппозицию

* *Жданов А. А., Маленков Г. М.* О положении в биологической науке [75, л. 122]; см. также [2, № 7, с. 112–113].

со стороны Лысенко, президиум Академии готовился организовать институт для своего нового члена-корреспондента. Жебрак стал президентом Академии наук Белоруссии, но осенью 1947 г. его политическая карьера внезапно закончилась разбирательством в суде чести в связи с обвинениями в непатриотическом поведении. Тогда генетики сумели найти себе нового покровителя в лице заведующего сектором науки Агитпропа — Ю. А. Жданова. Уже вскоре после своего назначения на эту должность 1 декабря 1947 г. он начал принимать и выслушивать посетителей, которые жаловались на неудовлетворительную ситуацию в биологии (см. [79, с. 74]).

Кампания «творческих и критических дискуссий» спровоцировала новый этап теоретической борьбы, в данном случае вокруг последних теорий Лысенко, в которых отрицалась внутривидовая конкуренция. С молчаливого одобрения Агитпропа были организованы конференции в МГУ в ноябре 1947 г. и в феврале 1948 г., а также обсуждение в Отделении биологии Академии наук в декабре 1947 г., где довольно незавуалированно критиковались научные взгляды Лысенко (см. [80–82]).

10 апреля 1948 г. в дискуссии принял участие сам Юрий Жданов. Он выступил на собрании партийных пропагандистов с лекцией «Спорные вопросы современного дарвинизма», в которой частично принял сторону критиков Лысенко. По его словам, борьба шла между двумя школами советской биологии, и неправильно объявлять формальную генетику «буржуазной наукой». И неодарвинисты (генетики), и неоламаркисты (лысенковцы) имеют большие заслуги.

> Трофим Денисович Лысенко напрасно берет на себя роль монополиста, единственного продолжателя дела Мичурина [79, с. 81].
>
> Т. Д. Лысенко недостаточно заимствовал у своего учителя чувство критического отношения к себе, к своим результатам. ... Он выступил в нашей стране как новатор, ... но Лысенко — представитель лишь одной ветви в биологической науке, лишь одного направления в школе великого Мичурина. Попытка подавить другие направления, опорочить ученых, работающих другими методами, ничего общего с новаторством не имеет. Деятельность Лысенко нанесла прямой ущерб... [Для развития советской биологической науки] необходимы творческие деловые дискуссии, развитие критики и самокритики в науке, богатство и разнообразие эксперимента и методов исследования. Необходимо ликвидировать попытки установления монополии на том или ином участке науки, ибо всякая монополия ведет к загниванию [79, с. 85–86].

Выступив с этим докладом, молодой и неопытный аппаратчик Ю. А. Жданов предпринял преждевременную и неумелую попытку взять на себя роль арбитра в биологической дискуссии. Он не только не заручился одобрением высшего партийного начальства (кроме молчаливого согласия Шепилова), но и не смог склонить Лысенко к самокритике, заявив, что он выражает не официальную, а свою личную точку зрения (см. [79]). Лысенко не был приглашен на лекцию, но сумел услышать ее тайно и забеспокоился, поскольку понял, что проиграл этот раунд критики. Если бы в этой ситуации Трофим Денисович стал жаловаться на критику «снизу», то он действовал бы не по правилам. Но хотя Лысенко и не был членом партии, он поступил аппаратно очень грамотно, начав новый раунд на более высоком уровне и построив новый треугольник *«критики и самокритики»*. В своем письме на имя Сталина и Жданова-старшего Лысенко обратился к их высшему суду с жалобой на действия некомпетентного или введенного в заблуждение вышестоящего партийного чиновника — начальника отдела науки ЦК, а себя и свою школу изобразил как меньшинство, притесняемое могущественными биологическими противниками. В другом пись-

ме на имя министра сельского хозяйства Лысенко просил поставить вопрос о своей отставке с поста президента ВАСХНИЛ, если выступление Юрия Жданова отражало точку зрения партии.

Жалоба Лысенко произвела впечатление на Сталина, и на одном из заседаний Политбюро в мае 1948 г. он выразил свое неудовольствие тем, что ответственный работник ЦК обидел выдающегося ученого. Позднее, в интервью В. Н. Сойферу, Ю. А. Жданов и Д. Т. Шепилов высказали противоречивые суждения относительно того, кто из них и в какой форме взял на себя ответственность за ошибку (см. [1, с. 400–401; 83])*.

Была образована комиссия Политбюро, и, согласно неписаным законам партийной бюрократии, Шепилов посоветовал Юрию Жданову написать покаянное письмо. По словам Юрия, противники А. А. Жданова в высшем руководстве использовали эту возможность, обвинив молодого человека в «недостаточном разоружении», а отца — в потворстве сыну (см. [79, с. 87]). Стало ли именно это причиной падения Жданова-старшего или же, напротив, его опала, вызванная чем-то другим, помогла сельскохозяйственной бюрократии одержать верх над бюрократией идеологической, — пока что трудно утверждать с уверенностью. Так или иначе, но решения Политбюро по делу Т. Д. Лысенко и Ю. А. Жданова и по реформе аппарата ЦК в связи с соперничеством Маленкова и Жданова-старшего совпадали по времени и, вероятно, были связаны друг с другом.

Основным пострадавшим в результате этих событий оказался (кроме пока еще ни о чем не подозревавших генетиков) главный идеолог страны. Его партийный конкурент Г. М. Маленков 1 июля 1948 г. был введен в состав секретариата ЦК, а еще через неделю принял дела секретариата от А. А. Жданова, который ушел в двухмесячный отпуск по состоянию здоровья. Так Жданов был оттеснен со второй по значимости должности в государстве и уже не вышел из опалы. Он умер от инфаркта тем же летом. А уже 10 июля Политбюро приняло решение о кардинальной реорганизации аппарата ЦК, переставив акцент в работе с идеологии на кадры. Суслов был назначен вместо Жданова отвечать за международные дела, Шепилова повысили до официального начальника Агитпропа, Маленков, помимо кадров, курировал вновь созданный сельскохозяйственный отдел ЦК (см. [84])**. Юрий Жданов отделался моральным уроком, временно избежав более серьезного наказания. Он продолжал работу на посту заведующего отделом науки, но был смещен оттуда сразу же после смерти Сталина. Законы аппаратных интриг постигались опытом многолетнего служения. Поспешное и непрофессиональное вмешательство в дела высокой политики не проходило безнаказанно.

15 июля 1948 г. Политбюро обсуждало вопросы сельскохозяйственных ведомств (ВАСХНИЛ, министерств и нового отдела ЦК). От имени комиссии, которая занималась разбором вышеописанного инцидента, А. А. Жданов отредактировал проект резолюции ЦК о положении в биологической науке и ошибках Юрия Жданова, а Г. В. Маленков присоединил свою подпись к проекту (см. [75]). Но если выражения симпатии к Лысенко со стороны Сталина могло хватить на то, чтобы разрушить карь-

---

* Письмо Т. Д. Лысенко И. В. Сталину и А. А. Жданову (17 апреля 1948), а также письмо Т. Д. Лысенко министру сельского хозяйства И. А. Бенедиктову (11 мая 1948) опубликованы в работе В. Н. Сойфера [1, с. 390–394].

** О конкурирующих принципах организации аппарата ЦК и соперничестве А. А. Жданова с Г. М. Маленковым см. [30; 45]. Еще один политик — Б. М. Кедров — пострадал (по крайней мере частично) из-за публикации материалов по биологии. В ноябре 1948 г. он был смещен с поста главного редактора журнала «Вопросы философии» (см. [85]).

еру члена Политбюро, то решение научного вопроса требовало большей осторожности. Вместо принятия подготовленной резолюции ЦК Политбюро решило пойти навстречу предложениям о назначении новых членов ВАСХНИЛ из числа «мичуринцев» и о возмещении морального ущерба, нанесенного выступлением Юрия Жданова:

> В связи с неправильным, не отражающим позиции ЦК докладом т. Ю. Жданова по вопросам советской биологической науки принять предложение Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства совхозов СССР и Академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина об обсуждении на июльской сессии Академии сельскохозяйственных наук доклада акад. Т. Д. Лысенко на тему «О положении в советской биологической науке», имея в виду опубликование этого документа в печати [86].

Сессия ВАСХНИЛ открылась 31 июля большим докладом Лысенко. Сталин прочитал рукопись и отредактировал ее идеологические акценты, но открыто содействие партии не афишировалось (см. [4]). Лысенко нужно было сначала продемонстрировать, что он владеет ситуацией в своей области, пользуется массовой поддержкой и может организовать гладкое обсуждение*. Лишь после того, как он справился с этой задачей, в последний день сессии газета «Правда» опубликовала покаянное письмо Юрия Жданова, а Лысенко получил разрешение заявить, что его доклад был одобрен ЦК. Победа мичуринского учения стала окончательной, поскольку имела двойную санкцию — Сталина и представительного академического собрания.

В структуре этого *собрания* явственно видна модель еще одной игры внутрипартийной демократии — *партийного съезда*. Во-первых, решение съезда обладало большей официальной силой, нежели решение любого вождя. Так, например, позднее Хрущев мог заявить, что Сталин ошибался, но не мог объявить ошибочными ни одно из решений партийных съездов. Во-вторых, из «Краткого курса истории ВКП(б)» каждый знал, что в 20-х гг. съезд служил методом окончательного разрешения наиболее важных внутрипартийных разногласий.

Платформы, фракции и пропаганда противоположных взглядов разрешались перед съездом, но после голосования полемика прекращалась. Оппозиция должна была «разоружиться» и прекратить всякую организационную деятельность. Для ЦК подготовка к съезду означала проведение специальной работы: чтобы обеспечить необходимое большинство на съезде, нужно было держать под контролем выборы депутатов на местах.

Лысенко тоже нужно было создать впечатление, что его поддерживает большинство биологов. Благодаря последним назначениям, он имел достаточное число своих сторонников в ВАСХНИЛ, но сельскохозяйственная академия не была самым высоким форумом для решения теоретических проблем биологии.

Вмешательство Академии наук СССР могло бы осложнить реализацию задуманного сценария, но приготовления к заседаниям были сделаны очень спешно, и многие из оппонентов Лысенко не знали о них и не присутствовали на сессии. Например, И. А. Рапопорт узнал о ней в последний момент, с трудом смог проникнуть в здание и стал одним из тех немногих, кто возражал докладчику (см. [88, с. 124–125]). Нескольких подобных диссидентов как раз хватало для того,

---

* 6 августа 1948 г. заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК А. И. Козлов направил секретарю ЦК Маленкову длинную справку о ходе еще не завершившейся сессии, доказывая, что «подавляющее большинство поддерживает положения доклада Лысенко» [87].

чтобы создать впечатление существования воинствующей, но численно незначительной оппозиции. Вряд ли абсолютное большинство в зале были активными последователями Лысенко, но многие, кто в другой ситуации мог остаться в стороне или даже стать на сторону генетики, на Августовской сессии примкнули к общему хору мичуринцев.

Такое поведение во многом определилось самим жанром собрания, заданным основным докладом Лысенко и выступлениями первых участников в стиле обсуждений на партийном съезде. Тщетно пытались оппоненты изменить жанр и соответственно правила игры и стиль полемики. Они утверждали, что дискуссия не была организована должным образом, что критикуемая сторона не была проинформирована и не имела времени на подготовку. П. М. Жуковский ратовал за «возможность свободной дискуссии, а дискуссию организовать надо, но даже не здесь. Надо просить организовать эту дискуссию в другом месте, и тогда скрестим рапиры» (цит. по [12, с. 391], но другие выступающие твердо дали понять, что время дискуссий прошло и что правила игры изменились.

Вспоминая собрание 1939 г., завершившееся не слишком благоприятно для генетиков, лысенковец Н. И. Нуждин заявлял:

> Дискуссия закончилась после совещания в редакции журнала «Под знаменем марксизма». После этого идет не дискуссия, а ведется со стороны представителей формальной генетики никуда не годная борьба, направленная против передового мичуринского учения. ... Факт остается фактом: научной, творческой дискуссии в настоящее время нет; есть групповщина и борьба, которая принимает самые ненормальные, негодные формы [12, с. 101].

На языке партийных игр это означало, что генетики не выполнили основного требования к оппозиции — разоружиться после проигранной дискуссии — и тем самым превратились из терпимого оппонента в открытого врага, которого необходимо было подавить организационно, а не только на словах*.

Согласно правилам игры, именуемой *«съезд»*, голосование на Августовской сессии подвело итог полемике, и она была закрыта. Всякая дальнейшая дискуссия была исключена. Единственно возможными играми оставались *«обсуждение»* постановлений и *«критика и самокритика»*, которые начались уже в последний день сессии ВАСХНИЛ 7 августа.

А 24–26 августа Президиум АН СССР исполнял эти игры на своем заседании, где критикуемым начальником был академик-секретарь Отделения биологии физиолог Л. А. Орбели. Председательствующий (т. е. выступающий в роли «модератора») президент Академии наук Сергей Иванович Вавилов начал собрание с порции самокритики, упрекнув Президиум в проявлении «нейтральности» и в стремлении сохранить паритет двух направлений в биологии. В последовавшем обсуждении Орбели не проявил должной степени самокритики, и Вавилов предложил из-

* Аналогичные высказывания лысенковцев о том, что *дискуссия давно уже окончена* см. [12, с. 165–166, 233, 508–510]. Еще одну безуспешную попытку изменить жанр дискурса предпринял Б. М. Завадовский, предложив другую партийную модель. Он напомнил собравшимся, что партия вела идеологическую борьбу «на два фронта» против правых и левых уклонов — «с механистической вульгаризацией марксизма», с одной стороны, и «с меньшевиствующим идеализмом, формализмом и метафизикой», с другой. «Мы слышали о развернутом фронте борьбы и разгроме формально-генетических ошибок. Но где же фронт борьбы с механицизмом?» — вопрошал Завадовский, призывая защищать «генеральную линию» последовательного дарвинизма и от неоламаркизма, и от формальной генетики [12, с. 283, 289–290, 302].

брать новым секретарем Отделения А. И. Опарина (см. [89; 90, л. 65–68, 176–182]). С. И. Вавилов сумел добиться разрешения для Академии наук своими силами «почиститься» от антимичуринцев, а вот кадровые изменения в министерствах высшего образования и сельского хозяйства непосредственно утверждались в ЦК. Десяток руководителей вузов и факультетов были освобождены от занимаемых постов решением секретариата ЦК, и более сотни профессоров уволены приказом министра высшего образования С. В. Кафтанова (см. [91–92]). Предложение Кафтанова изъять из публичных библиотек ряд учебников по биологии было поддержано Агитпропом, но отвергнуто секретариатом ЦК [92, л. 7–21]. В большинстве биологических институтов антимичуринцы должны были публично «разоружиться» посредством *самокритики*; учебные и исследовательские планы были пересмотрены в соответствии с результатами дискуссии*.

5. Смена парадигмы по-советски

Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики.

Иосиф Сталин, 1950 [14, с. 64]

1949 год прошел без какой-либо большой идеологической дискуссии, хотя ранее и предполагалось провести Всесоюзное совещание физиков. Конфликт в физике носил не столько теоретический, сколько институциональный характер: в его основе лежала борьба между физиками Московского университета и Академии наук. Университетские физики оказались более агрессивными и лучше подготовленными к заседаниям Оргкомитета совещания, и им практически удалось принудить к *самокритике* нескольких своих коллег из Академии.

Соотношение сил в физике могло бы измениться весьма существенно, но совещание, запланированное на март 1949 г., было отложено на неопределенное время решением секретариата ЦК и в конечном итоге так и не состоялось. Заслугу в этом обычно приписывают научному и политическому руководителям советского атомного проекта — И. В. Курчатову и Л. П. Берии.

Сохранившиеся архивные документы, однако, указывают не на «атомный след», а на бюрократические маневры Д. Т. Шепилова, который (по всей вероятности, с подачи С. И. Вавилова) предложил секретариату ЦК резолюцию о неподготовленности совещания (см. [28, с. 43–47]).

Таким образом, новых крупных политических событий в науке, затмивших Августовскую сессию, пришлось ждать вплоть до 1950 г., когда состоялись сразу две большие дискуссии. Так называемая «Павловская сессия» в физиологии готовилась долго, больше года, в основном усилиями Юрия Жданова. Позднее он утверждал, что его целью было скомпенсировать эффект Августовской сессии чем-то более конструктивным (см. [79, с. 88]). Это верно, по крайней мере, в смысле его собственной карьеры: действительно, Жданову-младшему нужно было конструктивно реабилитировать себя за прежние ошибки и показать, что он усвоил урок. На этот раз он подготовил сессию без спешки, аппаратно грамотно и прежде чем устраивать публичное действо заручился одобрением Сталина. Как следует из архивных документов, Ю. А. Жданову не нравилась сложившаяся монополия Леона Орбели, ученика Павлова, который унаследовал от учителя все главные физиоло-

* О других организационных последствиях Августовской сессии см. [68; 93].

гические институты страны (см. [94, л. 144–162; 95]). Некоторые другие представители школы И. П. Павлова выразили готовность подвергнуть Орбели критике и переделить оставленное учителем наследство.

Любое политически важное событие того времени нуждалось в идеологической рационализации; в данном случае в качестве высокого принципа была использована верность учению Ивана Петровича Павлова, а не Маркса или Ленина. В конечном итоге от критики, помимо Орбели, пострадали несколько других более или менее неортодоксальных ученых, а в области физиологии установилась новая монополия — еще большая, чем прежде (см. [16–18]).

В отличие от аналогичных событий в физиологии так называемая Свободная дискуссия по вопросам языкознания разразилась внезапно и неожиданно даже для Агитпропа. Она нарушила почти достигнутые порядок и консенсус в лингвистике, где к тому времени уже успели пройти несколько раундов *«критики и самокритики»*.

Персонажем, в чем-то аналогичным Лысенко, в советской лингвистике был Николай Яковлевич Марр. Как говорили, он был отмечен печатью гения и постепенно развивавшейся тенденцией к сумасшествию. Марр был основоположником советского кавказоведения и знал огромное количество языков как Кавказа, так и других лингвистически запутанных регионов мира. Для стандартной системы классификации языков кавказский ареал и до сих пор представляет трудную проблему. Занимаясь ею, Марр постепенно расходился с общепризнанной в лингвистике индоевропейской теорией. В 1923 г. он полностью порвал с этой теорией и взамен провозгласил «новое учение о языке», в котором картина исторического развития от небольшого числа праязыков к современному многообразию заменялась обратной моделью: от изначального множества — через смешение и скрещивание языков — к постепенному их слиянию. Согласно концепции Марра, независимые языки в своем развитии проходили через общие стадии соответственно уровню развития общества. Это позволило ему чуть позже связать свое учение с марксизмом, объявить его материалистическим языкознанием и противопоставить буржуазной и идеалистической лингвистике Запада (см. [15, гл. 1–2])*.

В баталиях культурной революции конца 20-х — начала 30-х гг. Марр и его последователи одержали верх над своими марксистскими и немарксистскими оппонентами и практически добились монопольного положения в области языкознания, археологии и этнографии. После смерти (в 1934 г.) Марр был причислен к «корифеям советской науки» — подобно Мичурину, Павлову, Вильямсу. «Новое учение о языке» приобрело статус официальной советской лингвистики, лидером которой стал ученик Марра — Иван Иванович Мещанинов. Впрочем, на практике Мещанинов придерживался невоинствующей стратегии, терпимо относился к продолжавшему реально существовать плюрализму подходов, лишь бы только на пропагандистском уровне провозглашалась ритуальная верность учению Марра и не подвергалась сомнению репутация марризма как марксизма в языкознании (см. [11, гл. 3–4; 96]). Увы, но этот компромисс не выдержал испытания кампанией критических дискуссий.

Собрания, проходившие в языкознании в 1946–1949 гг., в основном определялись необходимостью провести *обсуждение* таких политических событий, как доклад А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946 г.), итоги Философской дискуссии 1947 г. и Августовской сессии 1948 г. Соответственно сначала лингвисты анализировали работу своих журналов, затем обсуждали качество собственных учебников, и, наконец, всерьез занялись критикой идеализма в своей среде (см. [97–100]).

---

* О связях лингвистики с проблемами национально-этнической политики и теории см. [96].

Однако, благодаря в первую очередь амбициям двух деятелей — заместителя директора Московского отделения Института языка и мышления Г. П. Сердюченко, а также заместителя директора Института русского языка Ф. П. Филина, — эти ритуальные формы были наполнены специфическим содержанием: выявлением и критикой тех лингвистов, кто отклонялся от «нового учения» Н. Я. Марра.

Названия двух главных докладов на совместном заседании ленинградских отделений этих институтов в октябре 1948 г. — «О положении в лингвистической науке» и «О двух направлениях в языковедении» — слепо копировали заголовки из материалов Августовской сессии. Вообще говоря, в лингвистике выделяли три основных направления — ведь марристы критиковали помимо классической индоевропеистики еще и модернистский структурализм, но ритуал имитации оказался сильнее логики.

Выступавший первым И. И. Мещанинов избрал довольно абстрактный теоретический подход, что свидетельствовало, пожалуй, о недостатке воинственности. Он не мог избежать некоторой доли *самокритики* — за то, что так долго терпел «идеалистов». В своем докладе Мещанинов проводил концептуальные параллели между лингвистикой и биологией, гумбольдтовским «духом народа» и моргановским «наследственным веществом» и приравнял индоевропейскую теорию вместе с генетикой к расизму [99].

Второй докладчик — Ф. П. Филин — перешел к более конкретной и направленной критике, заявив, что «мир» в советской лингвистике служил лишь прикрытием для скрытых противников Марра, и призвал к «полному научно-теоретическому и политическому разоблачению и разгрому» индоевропеистики [100].

Помимо концептуальных, институциональные соображения также играли свою роль, поскольку главной мишенью для критики был выбран академик В. В. Виноградов — не самый явный, но зато самый высокопоставленный из немарристов. Он был деканом филологического факультета МГУ и не так давно избран действительным членом АН СССР. На собраниях 1947 г. учебник Виноградова «Русский язык» уже подвергался критике (см. [97]), а теперь (явно по примеру Августовской сессии) Филин обвинил Виноградова в том, что последний остался на прежних позициях даже после прошедшей дискуссии:

> Неразоружившимся индоевропеистам в нашей среде есть о чем подумать. Им надо не на словах, а на деле отказаться от ложных принципов... Советские языковеды могут выполнить свой долг перед народом, развертывая в своих рядах большевистскую критику и самокритику, последовательно проводя принцип партийности в науке [100, с. 496].

Целый ряд аналогичных заседаний состоялся в 1949 г. Это были, как правило, местные схватки, в которых марристы постепенно подавляли «еретиков» одного за другим (см. [15, с. 149–167]). Они одержали важнейшую победу в административных структурах, добившись, чтобы в свете состоявшихся дискуссий Министерство высшего образования пересмотрело учебные планы вузов, а Академия наук — планы исследовательских институтов.

В. В. Виноградова принудили к *самокритике* несколько раз: он произнес слова покаяния, ушел с поста декана факультета... И все же он был оставлен заведующим кафедрой русского языка филфака МГУ. Уволили немногих, но многим лингвистам пришлось осудить свои прежние взгляды и (по крайней мере, формально) примкнуть к марристам. Только на периферии — прежде всего в Грузии и Армении — несколько явных диссидентов все еще не были подавлены (см. [15, с.150–151, 158, 167; 101; 102]).

В сообществе лингвистов быстро устанавливался «порядок» и стремительно вырабатывался консенсус, но окончательно зафиксировать его могло бы проведенное по всем правилам политическое мероприятие. Начиная с июля 1949 г., соответствующие предложения и информация о ведущейся борьбе с идеализмом в языкознании несколько раз направлялись в ЦК от имени Академии наук. Агитпроп был готов поддержать инициативу ученых и провести у себя небольшое совещание языковедов с докладами С. П. Толстова, Ф. П. Филина и Г. П. Сердюченко «с целью завершения работы по рассмотрению положения в советском языковедении и внесения в ЦК ВКП(б) предложений по улучшению научной работы в этой области». Однако в январе 1950 г. секретариат ЦК ответил, что достаточно организовать совещание при Академии наук, иначе говоря, — неполитическое мероприятие [103].

Тем временем усиливались разногласия среди самих марристов. Академик Мещанинов все еще старался придерживаться умеренной линии, признавая, что у Марра были ошибки, а «новое учение о языке» нуждается в творческом развитии. Правда, его собственное положение становилось все менее прочным, и воинствующие марристы все чаще осмеливались распространять критику на своего официального лидера. Но и противоположная сторона не сидела сложа руки.

13 апреля 1950 г. М. А. Суслов получил докладную записку, которая содержала информацию, поступившую из Академии педагогических наук, с обвинениями Сердюченко в нетерпимости, некомпетентности, отсутствии самокритики и стремлении объявить Марра непогрешимым. Суслов высказал готовность обсудить, что именно в учении Марра было идеологически правильным, а что — ошибочным. Пометки Суслова на документе содержат такие фразы: «нельзя решать научные вопросы в административном порядке» и «организовать дискуссию» (см. [104]).

Но к тому моменту в другом месте уже произошло решающее событие: 10 апреля 1950 г. руководители советской республики Грузия посетили Сталина на даче и преподнесли ему в подарок новый «Толковый словарь грузинского языка». Они также представили Сталину главного редактора этого труда Арнольда Степановича Чикобаву, который был, пожалуй, наиболее ярым противником стадиальной теории Марра. Чикобава обвинял ее в антимарксизме и расизме — по той причине, что, согласно этой теории, на шкале развития грузинский язык помещался ниже индоевропейских. Чикобава имел прочные позиции в Академии наук Грузии и Тбилисском университете, а также пользовался поддержкой республиканского руководства, и он был одним из последних непокоренных диссидентов в языковедении (см. [105]).

В результате разговора на даче Сталин поручил Чикобаве изложить свои взгляды в письменном виде: «Напишите, посмотрим. Если подойдет, напечатаем».

Они встречались еще дважды, обсуждая текст, и 9 мая 1950 г. установившийся, казалось бы, порядок в советской лингвистике был взорван. Центральная партийная газета сообщала:

> В связи с неудовлетворительным состоянием, в котором находится советское языкознание, редакция считает необходимым организовать на страницах «Правды» свободную дискуссию с тем, чтобы путем критики и самокритики преодолеть застой в развитии советского языкознания и дать правильное направление дальнейшей работе в этой области. Статья Арн. Чикобава «О некоторых вопросах советского языкознания» печатается в дискуссионном порядке*.

* Необходимое пояснение для читателей, означавшее, что, несмотря на публикацию в «Правде», материал еще рано было рассматривать как официальный.

В этой статье Чикобава признавал ранние работы Марра по кавказским языкам, но отрицал его общую лингвистическую теорию и тезис о классовой природе языка. Он писал:

Н. Я. Марр, несмотря на свое стремление, не смог подняться до глубокого понимания сущности марксизма-ленинизма; ему не удалось овладеть методом диалектического материализма и применить его в языкознании [106].

Утверждают, что «Правда» получила более 200 откликов на эту публикацию (см. [15, с. 169]). Численно марристы должны были бы преобладать, но в печати появился симметричный набор писем — «за» и «против». В статьях примерно такого же объема, как и у Чикобавы, Мещанинов хвалил учение Марра, а Виноградов высказывался довольно неопределенно. Такая же структура — одно негативное, одно позитивное и одно «оппортунистическое» выступления — повторилась в публикации трех последующих подборок писем.

Каждый вторник рабочие и крестьяне, шахтеры и милиционеры, интеллигенты и чиновники находили в «Правде» новую подборку материалов со сложными научно-идеологическими текстами и, должно быть, недоумевали, почему вдруг так неожиданно проблемы языкознания приобрели столь важное политическое значение, гадали, на чьей стороне истина... Наконец, в седьмую неделю последовало:

Продолжаем публиковать статьи поступившие в «Правду» в связи с дискуссией по вопросам советского языкознания. Сегодня мы печатаем статьи И. Сталина «Относительно марксизма в языкознании», проф. Черных «К критике некоторых положений „нового учения о языке"» [107].

Быть может, Сталин изначально предполагал выступить в дискуссии и дал себе время выработать точку зрения, а, может быть, его выступление было спровоцировано одной из публикаций предыдущей недели, посвященной преимущественно вопросу о классовости языка. В начале следовало признание:

Я не языковед и, конечно, не могу полностью удовлетворить товарищей...

Но далее Сталин продолжал:

Что касается марксизма в языкознании, как и в других общественных науках, то к этому делу я имею прямое отношение [14, с. 9].

С лингвистической точки зрения, статья Сталина состояла в основном из тривиальных, но правильных высказываний. С точки зрения «подлинного» советского марксизма статью, несомненно, сочли бы еретической, если бы автором был кто-нибудь другой, а не вождь мирового пролетариата. Сталин не только отказал языку в классовой природе, но и вообще лишил его места в надстройке, на что не осмеливался ни один из самых ярых критиков Марра. Упор на классовый тезис, являвшийся в свое время очень сильным идеологическим приемом, в конце концов обернулся не в пользу марризма. К 1940-м гг. центральное место в советской идеологии заняли патриотические и националистические лозунги, а классовая и интернациональная риторика поблекла, сохранившись лишь для проформы. В конце статьи Сталин похвалил решение «Правды» (на самом деле — свое собственное) открыть свободную дискуссию и обвинил марристов в догматизме и зажиме критики, которая могла бы уже давно выявить немарксистскую сущность «нового учения о языке». Он заявил:

Ликвидация аракчеевского режима в языкознании, отказ от ошибок Н. Я. Марра, внедрение марксизма в языкознание, — таков по-моему путь, на котором можно было бы оздоровить советское языкознание [14, с. 70].

Свободная дискуссия в «Правде» продолжалась еще несколько недель, но, конечно, жанр дискурса изменился: вместо *дискуссии* шло *обсуждение* (комментирование и восхваление сталинских тезисов), *критика и самокритика* марристов. Затем настал черед более практических собраний в министерствах и институтах, где обсуждались персональные и организационные вопросы.

Мещанинов, Филин и Сердюченко лишились высоких должностей и стали рядовыми сотрудниками, а их институты были слиты в один Институт языкознания, директором которого, равно как и новым лидером в лингвистике, был назначен Виноградов (см. [108]). Появление «Сталинского учения о языке» затмило собой Августовскую сессию и считалось главным политическим событием в науке примерно до 1952 г., когда *«корифей науки»* опубликовал новый теоретический опус, на сей раз по политической экономии. Десятки книг и сотни журнальных статей комментировали сталинские работы и «внедряли марксизм в языкознание».

Результатом же этого партийного диктата и идеологического вмешательства в лингвистику стала реабилитация классической, традиционной, несколько устаревшей, но интернациональной науки — сравнительного индоевропейского языкознания. Один почтенный академик даже назвал сталинское выступление «отрезвляющим голосом разума» [109]. А вот структурализму пришлось ожидать реабилитации еще десяток лет вплоть до эпохи хрущевской либерализации.

Заключение

Сразу после окончания второй мировой войны наука стала в Советском Союзе делом особой государственной важности. Новый привилегированный статус распространился на все дисциплины, а не только на физику и области, непосредственно ориентированные на военно-промышленный комплекс. Ученые стали одной из важнейших, элитных групп советского общества, следуя по рангу за партийно-политической, хозяйственной и военной элитами и впервые поднявшись выше инженеров. Это изменение статуса было явно декларировано постановлением Совета Министров в марте 1946 г., согласно которому не только финансирование исследований и институтов, но и уровень заработной платы и личных привилегий ученых были подняты на несравнимую высоту, какой они не достигали ни раньше, ни позднее на протяжении всего советского периода (см. [110; 111]).

В сталинском обществе высокие привилегии всегда были неотделимы от повышенной степени риска, а пристальная забота означала также внимательный контроль. Это было характерно и для других элитных групп. В своем новом статусе ученые вступили в более тесный контакт с политиками, заимствуя их ценности, язык и игры*.

Усиление внимания к науке вызвало сознательные попытки ряда политиков стимулировать прогресс в этой области при помощи наличных культурных ресурсов. В частности, определенные ритуалы, которые существовали в партийной жизни и, как считалось, обеспечивали в ней механизмы прогрессивных изменений и преодоления недостатков, были перенесены из политической среды в академическую. Выбор этих ритуалов следует характеризовать не как диктат политиков

* О распространении на интеллигенцию понятия элиты и о взаимоотношениях политической и интеллектуальной элит в довоенном сталинском обществе см. [112].

над учеными, а как специфическое для сталинского общества распределение авторитета между ними. Ученых пригласили сыграть в ***игры*** с открытой повесткой и результатами, которые стимулировали инициативу снизу, критику и конфликты. При этом правила игр были заимствованы из ограниченного репертуара внутрипартийной демократии, что накладывало специфический отпечаток на все происходящее. И хотя партийные деятели редко имели собственные взгляды в научных вопросах, они оставляли за собой право вмешиваться и выносить свое суждение в тех случаях, когда дело касалось важного политического, философского или идеологического тезиса. Эта возможность провоцировала многочисленные обращения ученых к политикам как арбитрам. Стремясь заручиться поддержкой сверху, ученые соревновались между собой в умении перевести концептуальные, институциональные, групповые и личные разногласия на понятный политикам язык. Аналогичные явления существовали в советской науке еще с 20-х гг., но в период кампании *«творческих дискуссий»* они достигли небывалых высот и координированности.

Советская идеология, как всякая могущественная идеология, была богата внутренними противоречиями и поэтому позволяла находить практически для любой научной позиции разнообразные идеологические соответствия. Но язык идеологии все же был достаточно ограничен и не мог обеспечить адекватность перевода. В философском смысле идеологический дискурс является не чем иным, как виттенштейновской языковой игрой: ученые и политики участвовали в процессе коммуникации с помощью искусственно ограниченного в своих средствах языка (см. [52, § 7, с. 83]). Некоторые из непредсказуемых и нелогичных результатов кампании идеологических дискуссий можно объяснить известным феноменом неопределенности лингвистического перевода.

Важной особенностью партийных игр было то, что хотя на ранних стадиях поощрялись плюрализм и свобода критики, заканчивались они, как правило, однозначным и окончательным решением. Это объясняет, почему политика, которую Мао позже декларировал с помощью образного лозунга «пусть расцветают тысячи цветов», обычно приводила к противоположному эффекту.

Необходимость принимать жесткие решения на базе неполной информации и при отсутствии достоверных знаний свойственна, вообще говоря, многим политическим играм в отличие от большинства академических. Но культура сталинизма была сильна верой в единственность и доступность истины, сильна желанием установить истину без промедления, не откладывая на будущее, что нередко приводило к поспешным и неоправданным решениям. Хотя участники конфликтов могли существенно расходиться в научных и политических взглядах, часто общим для всех них было неприятие плюрализма подходов и соответственно нетерпимость к противоположному мнению.

В этой статье я проанализировал несколько примеров дискуссий, закончившихся однозначными результатами и официальным консенсусом, где политики выступали в роли арбитров. Подобные обсуждения оказывались, конечно, наиболее знаменитыми и пропагандируемыми, но были, скорее, редким исключением, чем правилом. Многие пытались добиться политического одобрения того или иного научного тезиса, но мало кому это реально удавалось. Не так-то легко было достигнуть решающего перевеса сил и организовать представительное академическое собрание, которое могло авторитетно и окончательно разрешить конфликт. И уж совсем мало шансов было на то, что лично Сталин проявит внимание, разберется и рассудит... Так, вероятно, если бы молодой работник ЦК Юрий Жданов не совершил ряд неграмотных действий, у Сталина вряд ли возник бы повод для вмешательства в биологическую дискуссию. В большинстве областей науки борьба не

привела к окончательной победе какой-либо из сторон, а проходившие дискуссии имели характер ограниченных стычек, а не решающего, генерального сражения. Эти «нейтральные» случаи, которых, вообше говоря, было подавляющее большинство, еще предстоит изучить более глубоко.

Коммунистическая партия считала, что она имела и право, и обязанность вмешиваться во все политически важные события. Эта идея тотального и эффективного контроля была, разумеется, утопией, которую невозможно было реализовать на практике, и в действительности она оборачивалась принятием серии постановлений по произвольно выбранным поводам. В описанных выше процессах те редкие случаи, когда власти действительно вмешивались, определялись не логическими критериями, а причудливыми и случайными комбинациями обстоятельств. Нельзя было предсказать, какое именно из тысяч адресованных Сталину писем дойдет до его стола, привлечет его внимание и вызовет в нем встречную эмоцию (и какую?..). Но если это происходило, то возникал эффект большого политического значения. Таким образом сталинская система реагировала на случайные раздражители, но с избыточным приложением сил: не очень значительные «сигналы с мест» могли лавинным образом спровоцировать несоразмерно масштабные политические последствия. В нелинейной физике системы с таким поведением называются «хаотическими» — они могут быть вполне детерминистическими на микроскопическом уровне, но неустойчивыми к малым флуктуациям и посему непредсказуемыми на уровне макроэффектов.

Другой важнейшей чертой сталинской системы было ее умение вырабатывать идеологические обоснования для каждого своего действия. Политические решения и события, вызванные разнообразными обстоятельствами, неизменно объявлялись логически неизбежными следствиями высоких принципов. В результате генетика была названа — *идеализмом*, мичуринская биология и индоевропейская теория в лингвистике — *марксистскими*, марризм — *аракчеевщиной*, Г. Ф. Александров — *буржуазным объективистом и катедер-социалистом*, Б. М. Кедров — *космополитом*, а Л. А. Орбели — *отступившим от павловского учения*.

Модель сталинизма, согласно которой идеология якобы определяла глобальный план и непосредственным образом управляла событиями, была *самосознанием* сталинской культуры. Представители коммунистической системы сами верили в это и поэтому часто обманывались относительно последствий своих действий. Критики и противники сталинизма заменяли положительные оценки на отрицательные, но при этом тоже нередко оказывались в плену тех же псевдообъяснительных моделей, принимая идеологические рационализации за реальные причины событий. Кампании 1940-х гг. служили хрестоматийными примерами процессов, якобы контролируемых и направляемых идеологией. Но их реальные внутренние механизмы, выявленные на основе архивных источников, показывают совсем иную, более сложную картину. Процессы, инициированные одними идеологическими мотивами (скажем, концепцией внутрипартийной демократии), могли приводить к непредвиденным последствиям, и тогда для оправдания свершившегося, т. е. неожиданных результатов, уже задним числом выдвигались другие идеологические рационализации.

Одной из таких идеологических рационализаций можно считать и саму идею тоталитаризма. Сталинизм хотел быть и декларировал себя *тоталитарной системой:* (идео)логичной, принципиальной, контролируемой, — но мечта о тоталитаризме тоже была недостижимой утопией, а стремление к абсолютному порядку часто приводило к обратному результату. Нередко за фасадом «эффективного контроля», «целеустремленности» и «дисциплины» обнаруживались произвол, не-

предсказуемость и хаос. Самообман режима обманул и многих его критиков: пропагандистский образ сталинской системы как тоталитарной разделялся и по другую сторону «железного занавеса». Там был сконструирован образ сталинизма как манихейского демона, последовательного в злой логике, могущественного в своем контроле над обществом и ужасного в неуклонном стремлении к провозглашенным целям. Этот образ врага основывался на политических и моральных императивах времен «холодной войны», требовавших разоблачить опасность коммунистического тоталитаризма, пока он еще был жив, энергичен и привлекателен. То время прошло, и становится все более ясно, что сталинизм был, скорее, демоном Августина — хаотическим злодеем, который лишь изображал себя логичным и последовательным*.

В современных условиях следует опасаться не столько возрождения уже разоблаченной и мертвой версии тоталитаризма, сколько появления его новых, более изощренных модификаций. Для их распознавания прежние, упрощенные модели, могут оказаться недостаточными.

Список литературы

1. *Сойфер В. Н.* Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. Tenafly, 1989.
2. *Есаков В. Д., Левина Е. С.* Из истории борьбы с лысенковщиной // Известия ЦК КПСС. 1991. № 4. С. 125–141; № 6. С. 157–173; № 7. С. 109–121.
3. *Левина Е. С.* Вавилов, Лысенко, Тимофеев-Ресовский... М., 1995.
4. *Rossianov K.* Editing Nature: Joseph Stalin and the «New Soviet Biology» // Isis. 1993. Vol. 84. P. 728–745.
5. *Krementsov N. L.* Stalinist Science. Princeton, 1997.
6. История коммунистической партии Советского Союза. М., 1959.
7. Большевистская критика и самокритика // Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. Т. 5. М., 1950. С. 515–518.
8. *Жданов Ю. А.* О критике и самокритике в научной работе // Большевик. 1951. № 21. С. 28–43.
9. *Иовчук М. Т.* Борьба мнений и свобода критики — важнейшее условие развития передовой науки // Вопросы философии. 1952. № 2. С. 14–31.
10. Дискуссия по книге Г. Ф. Александрова «История западноевропейской философии», 16–25 июня 1947 г. Стенографический отчет // Вопросы философии. 1947. № 1.
11. *Есаков В. Д.* К истории философской дискуссии 1947 г. // Вопросы философии. 1993. № 2. С. 83–106.
12. О положении в биологической науке. Стенографический отчет сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. 31 июля — 7 августа 1948 г. М., 1948.
13. *Joravsky D.* The Lysenko Affair. Cambridge, 1970.
14. *Сталин И.* Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950.
15. *Алпатов В. М.* История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.
16. Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения академика И. П. Павлова. 28 июня — 4 июля 1950 г. Стенографический отчет. М., 1950.
17. *Joravsky D.* Russian Psychology. A Critical History. Oxford, 1989.
18. Круглый стол: «Павловская сессия» 1950 г. и судьбы советской физиологии // ВИЕТ. 1988. № 3. С. 129–141; № 4. С. 147–157; 1989. № 1. С. 94–108.
19. *Сталин И.* Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952.

* О манихейском и августиновском образах врага см. [113]. О внутреннем хаосе внутри тоталитарной оболочки см. [47, с. 198, 112]

20. *Опенкин Л. А.* И. В. Сталин: последний прогноз будущего (из истории написания работы «Экономические проблемы социализма в СССР») // Вопросы истории КПСС. 1991. № 7. С. 113–128.
21. *Левин Е. А.* Битва без избиения: совещание по планетной космогонии 1951 г. // Природа. 1991. № 9. С. 99–107.
22. Против идеализации учения А. Веселовского // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1948. Т. 7. № 4. С. 362–364.
23. *Graham L.* A Soviet Marxist View of Structural Chemistry: The Theory of Resonance Controversy // Isis. Vol. 55. 1964. P. 20–31.
24. *Печенкин А. А.* Антирезонансная кампания 1950 г. // Метафизика и идеология в истории естествознания. М., 1994. С. 184–219.
25. *Горелик Г. Е.* Физика университетская и академическая // ВИЕТ. 1991. № 1. С. 15–32.
26. *Кожевников А. Б. О науке пролетарской, партийной, марксистской // Метафизика* и идеология в истории естествознания. М., 1994. С. 219–238.
27. *Александров Д. А.* Историческая антропология науки в России // ВИЕТ. № 4. 1994. С. 3–22.
28. *Kojevnikov A.* President of Stalin's Academy: The Mask and Responsibility of Sergei Vavilov // Isis. 1996. Vol. 87. P. 18–50.
29. Александров Георгий Федорович // Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. Т. 1. 1970. С. 413.
30. *Hahn W.* The Fall of Zhdanov and the Defeat of Moderation, 1946–1953. Ithaca, 1982.
31. Александров Георгий Федорович // Философская Энциклопедия. М., 1960. Т. 1. С. 43.
32. Российский центр хранения и изучения документации новейшей истории (бывший Центральный партийный архив), далее — РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 477.
33. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 527.
34. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 155.
35. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 161
36. За творческую разработку марксистской философии // Вопросы философии. 1948. № 1. С. 3–10.
37. За боевой философский журнал // Вопросы философии. 1949. № 1. С. 7–10.
38. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 543.
39. Стенограмма совещания Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1947 г. о состоянии работы в области пропаганды и агитации // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 493.
40. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 160.
41. [*Медведев Р. А.*] Политический дневник, 1964–1970. Т. 1. Амстердам, 1972.
42. Белорусская Советская Энциклопедия. Т. 1. Минск, 1969.
43. *Кедров Б., Гургенидзе Г.* За глубокую разработку ленинского философского наследства // Коммунист. 1955. № 14. С. 45–56.
44. *Сталин И. В.* Сочинения: В 13 т. М., 1946–1949.
45. *Fainsod M.* How Russia is Ruled. Cambridge, 1963.
46. *Медведев Р.* Книга о социалистической демократии. Amsterdam, 1972.
47. *Getty A. J.* Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered. Cambridge, 1985.
48. *Parkin D.* Ritual as Spatial Direction and Bodily Division // Understanding Rituals / Ed. by D. de Coppert. L., 1992. P. 11–25
49. *Антонов-Овсеенко А.* Театр Иосифа Сталина. М., 1995.
50. *Unfried B.* Rituale von Konfession und Selbstkritik: Bilder vom stalinistischen Kader // Jahrbuch fr historische Kommunismusforschung. 1994. S. 148–164.
51. *Riegel K.-G.* Konfessionsrituale im Marxismus-Leninismus. Graz, 1985.
52. *Витгенштейн Л.* Философские исследования // *Витгенштейн Л.* Философские работы. Ч. 1. М., 1994. С. 74–319.

53. Справочник партийного работника. Вып. 7. М.-Л., 1930.
54. О самокритике. Библиотечка Среднего Поволжья, 1928.
55. *Сталин И. В.* Против опошления лозунга самокритики // Сочинения. Т. 11. М., 1949. С. 127–138.
56. *Merridale C.* Moscow Politics and the Rise of Stalin. Basingstoke, 1990.
57. *Степанян.* О противоречиях при социализме // Правда. 1947. 20 августа.
58. Самокритика — испытанное оружие большевизма // Правда. 1946. 24 августа.
59. Под знаменем большевистской критики и самокритики // Правда. 1947. 15 марта.
60. Первые итоги творческих дискуссий // Вестник АН СССР. 1948. № 3. С. 5–15.
61. *Кедров Б. М.* Как создавался наш журнал // Вопросы философии. 1988. № 4. С. 92–104.
62. *Кедров Б. М.* Значение критики и самокритики в развитии науки (К вопросу о роли отрицания в диалектике и метафизике) // Вестник АН СССР. 1948. № 2. С. 68–100.
63. За свободную, творческую научную критику // Вестник АН СССР. 1950. № 8. С. 10–20.
64. Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» // Правда. 1946. 21 сентября.
65. Стенограмма совещания в ЦК по вопросам пропаганды, о работе центральных газет и издательств, 18 апреля 1946 г. под председательством А. Жданова // РЦХИДНИ. Ф. 77. Оп. 1. Д. 976.
66. *Есаков В. Д., Левина Е. С.* Дело КР (из истории гонений на советскую интеллигенцию) // Кентавр. 1994. № 2. С. 54–69.
67. *Костырченко Г.* В плену у красного фараона. М., 1994.
68. *Кременцов Н. Л.* Равнение на ВАСХНИЛ // Репрессированная наука. Вып. 2. СПб., 1994. С. 83–96.
69. *Марков М. А.* О природе физического знания // Вопросы философии. 1947. № 2. С. 140–176.
70. Дискуссия о природе физического знания. Обсуждение статьи М. А. Маркова // Вопросы философии. 1948. № 3. С. 212–235.
71. Обсуждение учебника проф. А. И. Денисова «Советское государство и право» // Вестник АН СССР. 1948. № 4. С. 103–105.
72. Расширенное заседание Редакционно-издательского совета АН СССР // Вестник АН СССР. 1948. № 6. С. 73–80.
73. Обсуждение книги проф. Б. М. Кедрова «Энгельс и естествознание» // Вестник АН СССР. 1948. № 3. С. 100–105.
74. *Александров Г. Ф.* Об ошибочных взглядах Б. М. Кедрова в области философии и естествознания // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 180. Л. 48–97.
75. *Жданов А., Маленков Г.* О положении в советской биологической науке. Проект постановления ЦК ВКП(б), 10 июля 1948 г. // РЦХИДНИ. Ф. 1. Оп. 77. Д. 991.
76. *Есаков В. Д.* Новое о сессии ВАСХНИЛ 1948 г. // Репрессированная наука. Вып. 2. СПб,. 1994. С. 57–75.
77. Письма А. Р. Жебрака Г. М.Маленкову // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 449. Л. 48–49, 108–111.
78. Письмо С. И. Алиханяна Сталину, 6 мая 1948 // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 71. Л. 4–41.
79. *Жданов Ю. А.* Во мгле противоречий // Вопросы философии. 1993. № 7. С. 65–92.
80. Научные дискуссии // Литературная газета. 1947. 29 ноября; 10 и 27 декабря.
81. Московская конференция по проблемам дарвинизма // Природа. 1948. № 6. С. 85–87.
82. О внутривидовой борьбе за существование среди организмов. (Решение Бюро Отделения биологических наук АН СССР) // Вестник АН СССР. 1948. № 3. С. 106.
83. Проблемы истории и современности // Вопросы истории КПСС. 1989. № 2. С. 48–55.
84. Протоколы заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) 1, 6, и 10 июля 1948 г. // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1071.
85. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 34.

86. Протоколы заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) 15 июля 1948 г. // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1071.
87. О ходе обсуждения доклада академика Лысенко на сессии ВАСХНИЛ // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 138. Д. 30. С. 1–39.
88. *Маневич Е. Д.* Такие были времена // ВИЕТ. 1993. № 2. С. 119–132.
89. Расширенное заседание Президиума Академии Наук СССР, 24-26 августа 1948 г. // Вестник АН СССР. 1948. № 9. С. 3–208.
90. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 40.
91. Протоколы Секретариата ЦК ВКП(б) от 6, 9, 11, 16 и 20 августа 1948 г. // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 364–369.
92. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 66.
93. *Кременцов Н. Л.* От сельского хозяйства до ... медицины // Репрессированная наука. Вып. I. Л., 1991. С. 91–113.
94. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 177.
95. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 347.
96. *Slezkine Yu.* N. Ia. Marr and the National Origins of Soviet Ethnogenetics // Slavic Review. 1996. Vol. 55.
97. Обсуждение работ по языкознанию // Вестник АН СССР. 1948. № 2. С. 113–118.
98. Обсуждение работы журнала; Очередные задачи советского языкознания // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1948. Т. 7. № 5. С. 463–468.
99. *Мещанинов И. И.* О положении в лингвистической науке // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1948. Т. 7. № 6. С. 473–485.
100. *Филин Ф. П.* О двух направлениях в языковедении // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1948. Т. 7. № 6. С. 486–496.
101. *Топчиев А. В.* И. В. Сталин о проблемах языкознания и задачи Академии Наук СССР // Вестник АН СССР. 1950. № 7–8. С. 8–19.
102. *Самарин А. М.* О состоянии учебной и научной работы по языкознанию в вузах и меры по ее улучшению // Вестник высшей школы. 1950. № 9. С. 19–28.
103. И. П. Бардин (АН СССР) Маленкову, 30 июля 1949, ноябрь 1949 г.; Кружков и Жданов (Агитпроп) *Суслову, 19 августа 1949 г., ноябрь 1949 г., 10 января 1950 г.* // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 164. Л. 16–114.
104. *Мещанинов И. И.* Докладная записка, 12 апреля 1950 г.; АН СССР Маленкову, 17 апреля 1950 г.; П. Климов и П. Третьяков М. А. Суслову, 13 апреля 1950 г., пометки Суслова // РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 336. Л. 4–76.
105. *Чикобава А.* Когда и как это было // Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси, 1985. С. 9–52.
106. *Чикобава А. С.* О некоторых вопросах советского языкознания // Правда. 1950. 9 мая.
107. Правда. 1950. 20 июня.
108. Президиум Академии Наук. Постановление. В Институте языкознания // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1950. Т. 9. № 1. С. 80–88.
109. *Толстой И. И.* Отрезвляющий голос разума // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1950. Т. 9. № 1. С. 62–63.
110. О повышении окладов работников науки и об улучшении их материально-бытовых условий. Постановление Совета Министров СССР, № 514, от 6 марта 1946 г. // Правда. 1946. 7 марта.
111. *Зезина М. Р.* Материальное стимулирование научного труда в СССР, 1945–1985 (рукопись).
112. *Fitzpatrick Sh.* Introduction: On Power and Culture // *Fitzpatrick Sh.* The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992. P. 1–15.
113. *Galison P.* The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision // Critical Inquiry. Vol. 21. 1994. P. 228–266.
114. *Холмс Л.* Социальная история России: 1917–1941. Ростов-на-Дону, 1994.

Содержание